18+

АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВ

Коммунальная квартира



Алексей Митрофанов

Коммунальная квартира

«Издательские решения»

Митрофанов А.

Коммунальная квартира / А. Митрофанов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-969085-2

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.Эта книга посвящена целой эпохе в жизни нашей страны — эпохе коммуналок. Противоестественной, некомфортной — и в то же время по-своему душевной и уютной. Кухня, санузел, патефон, дворовые игры, общий телефонный аппарат.Автор рассматривает, перебирая один за другим, отдельные фрагменты коммунальной жизни. И в результате складывается объемная картина.

ISBN 978-5-44-969085-2

© Митрофанов А.
© Издательские решения

Содержание

Что откуда взялось? 6
Что к чему? 23
Что и как? 33
Кто и где? 48
Конец ознакомительного фрагмента. 65

Коммунальная квартира

Алексей Митрофанов

© Алексей Митрофанов, 2021

ISBN 978-5-4496-9085-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Что откуда взялось? Возникновение коммуналок

Причина появления коммуналок очевидна. Очевидно и то, почему они по большей части возникали в Москве. После революции 1917 года жизнь во всей России стала нестерпимой. Безденежье, бескормица, болезни, эпидемии, братоубийства и полнейшее непонимание того, что происходит. В подобных ситуациях многие люди, выброшенные из привычного уклада, тянутся в столицу. Ограничений на перемещение в то время не было. В Москву ехали отовсюду – и здесь оставались, найдя, если не счастье, то, во всяком случае, возможность что-то заработать или же украсть.

Естественно, всем этим людям следовало где-то жить. Притом жилое помещение должно быть капитальным, теплым – климат в средней полосе далек от средиземноморского. Это с одной стороны.

С другой же стороны, новые власти декларировали всякого рода борьбу с пережитками прошлого. Роскошные (как представлялось хозяевам новой жизни) многокомнатные квартиры с черными лестницами и специальными помещениями для прислуги, безусловно, относились к их числу.

Складываем два и два – и получаем целый город коммуналок – столицу государства коммуналок.

Сам Ленин в статье «Удержат ли большевики государственную власть?» излагал приблизительное действие этого механизма: «Пролетарскому государству надо принудительно вселить крайне нуждающуюся семью в квартиру богатого человека. Наш отряд рабочей милиции состоит, допустим, из пятнадцати человек: два матроса, два солдата, два сознательных рабочих (из которых пусть только один является членом нашей партии или сочувствующим ей), затем один интеллигент и восемь человек из трудящейся бедноты, непременно не менее пяти женщин, прислуги, чернорабочих и т. п. Отряд является в квартиру богатого, осматривает ее, находит пять комнат на двоих мужчин и двух женщин. – „Вы потеснитесь, граждане, в двух комнатах на эту зиму, а две комнаты приготовьте для поселения в них двух семей из подвала. На время, пока мы при помощи инженеров (вы, кажется, инженер?) не построим хороших квартир для всех, вам обязательно потесниться. Ваш телефон будет служить на десять семей. Это сэкономит часов сто работы, беготни по лавчонкам и т. п. Затем в вашей семье двое незанятых полурабочих, способных выполнить легкий труд: гражданка пятидесяти пяти лет и гражданин четырнадцати лет. Они будут дежурить ежедневно по три часа, чтобы наблюдать за правильным распределением продуктов для десяти семей и вести необходимые для этого записи. Гражданин студент, который находится в нашем отряде, напишет сейчас в двух экземплярах текст этого государственного приказа, а вы будете любезны выдать нам расписку, что обязуетесь в точности выполнить его“».

И все. Не отвертишься.

Поэтесса Ирина Одоевцева писала в своих мемуарах о Москве 1921 года: «Я гощу у брата и, как здесь полагается, живу с ним и его женой в одной комнате, в «уплотненной» квартире на Басманной.

У нас в Петербурге ни о каких «жилплощадях» и «уплотнениях» и речи нет. Все живут в своих квартирах, а если почему-либо неудобно (из-за недействующего центрального отопления или оттого что далеко от места службы), перебираются в другую пустующую квартиру – их великое множество – выбирай любую, даром, а получить разрешение поселиться в них легче легкого.

Здесь же, в квартире из шести комнат двадцать один жилец – «Всех возрастов и всех полов» – живут в тесноте и обиде.

В такой тесноте, что частушка, распеваемая за стеной молодым рабочим под гармошку, почти не звучит преувеличением:

Эх, привольно мы живем —
Как в гробах покойники:
Мы с женой в комоде спим,
Теща в рукомойнике.

Большинство жильцов давно перессорились. Ссоры возникают главным образом на кухне между жилицами, мужья неизменно выступают на защиту жен и дело часто доходит до драки и, во всяком случае, до взаимных обид и оскорблений».

Ирина Владимировна рано радовалась – в скором времени и в Петербурге начнется процесс формирования коммуналок, а в какой-то момент ситуация там станет хуже московской.

В 1924 году московские власти приняли постановление «Об урегулировании жилищного дела в Москве», в соответствии с которым на каждого человека должна была приходиться площадь не менее 20 квадратных метров. Но, как известно, строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. В том числе со стороны самих властей. Поэтому теснились – в том числе и на вполне законном основании – по пять-шесть человек в маленькой коммунальной комнатке, в том числе и в уже упоминавшихся помещениях для прислуги. И ничего, не роптали. За счастье считали. А кому не нравится – вали обратно в свою глушь.

В деревнях коммуналок, как не трудно догадаться, не было.

В том же году появился закон о выселении последних помещиков из их родовых имений. Разумеется, к тому моменту там остались, в основном, старые и немощные представители некогда знатных родов. Те, кто помоложе либо отправились за границу, либо подались искать счастья в Москве, либо очутились за решеткой. Все это старичье, естественно, пополнило число столичных коммунальных жителей – в богадельни забирали далеко не всех, хотя и эта относительно гуманная практика существовала.

* * *

Сергей Михайлович Голицын писал в книге «Записки уцелевшего»: «Население Москвы с каждым днем стремительно увеличивалось. Полицейской паспортной системы тогда не успели еще придумать, прописывали граждан безоговорочно, лишь бы куда прописать, хоть в темный чулан, хоть в ванную комнату. Возвращались в Москву те, которые в свое время ее покинули из-за голода… Юноши и девушки ехали учиться и завоевывать славу. Ехали дельцы, познавшие, что в Москве можно хорошо устроиться и нагрести много денег. У всех переселенцев был багаж, подчас весьма громоздкий, его требовалось доставить с вокзалов в какие-то квартиры. Предприимчивые люди везли с вокзалов разные товары, наконец, подмосковные крестьяне на своих лошадях доставляли мясные и молочные продукты, овощи, дрова».

Корней Чуковский писал в дневнике: «В Москве теснота ужасная: в квартирах установился особый московский запах – от скопления человеческих тел. И в каждой квартире каждую минуту слышно спускание клозетной воды, клозет работает без перерыву. И на дверях записочка: один звонок такому-то, два звонка – такому-то, три звонка – такому-то».

Он же изумлялся: «Был вчера у Тынянова. Странно видеть на двери такого знаменитого писателя табличку:

Тынянову звонить 1 раз

Ямпольскому – 2 раза
NN – 3 раза
NNN – 4 раза

Он живет в коммунальной квартире! Ход к нему через кухню. Лицо изможденное. Мы расцеловались. Оказалось, что положение у него очень тяжелое.

Елена Александровна больна – поврежден спинной хребет и повреждена двенадцатиперстная кишка. Бедная женщина лежит без движения уже неск. месяцев. Тынянов при ней сиделкой. На днях понадобился матрац – какой-то особенный гладкий. Т. купил два матраца и кровать. Все это оказалось дрянью, которую пришлось выкинуть. «А как трудно приглашать профессоров! Все так загружены». Доктора, аптеки, консилиумы, рецепты – все это давит Ю. Н., не дает ему писать. «А тут еще Ямпольские – пошлые торжествующие мещане!» И за стеною по ночам кричит ребенок, не дает спать! Ю. Н. хлопочет, чтоб ему позволили уехать в Париж, и дали бы денег – в Париже есть клиника, где лечат какой-то особенной сывороткой – такую болезнь, которою болен Ю. Н. «У меня то нога отымается, то вдруг начинаю слепнуть»».

Но приходилось терпеть.

Тынянов и другие, перечисленные выше, граждане, по тем временам еще неплохо устроились. Тогда остаться без жилья вообще не было чем-то выдающимся и сверхъестественным. Ну нет – и ладно. Мариенгоф писал: «Случилось, что весной девятнадцатого года я и Есенин остались без комнаты. Ночевали но приятелям, по приятельницам, в неописуемом номере гостиницы «Европа», в вагоне Молабуха, в люксе у Георгия Устинова – словом, где, на чем и как попало.

Как-то разбрелись на ночь. Есенин поехал к Кусикову на Арбат, а я примостился на диванчике в кабинете правления знаменитого когда-то и единственного в своем роде кафе поэтов…

Солнце разбудило меня… Весна стояла чудесная.

Я протер глаза и протянул руку к стулу за часами. Часов не оказалось. Стал шарить под диваном, под стулом, в изголовье…

– Сперли!

Погрустнел.

Вспомнил, что в бумажнике у меня было денег обедов на пять, на шесть – сумма изрядная.

Забеспокоился. Бумажника тоже не оказалось.

– Вот сволочи!

Захотел встать – исчезли ботинки…

Вздумал натянуть брюки – увы, натягивать было нечего.

Так через промежутки – минуты по три – я обнаруживал одну за другой пропажи: часы… бумажник… ботинки… брюки… пиджак… носки… панталоны… галстук…

Самое смешное было в такой постепенности обнаруживаний, в чередовании изумлений».

К счастью, писательская взаимовыручка в этом случае сработала безотказно: «Если бы не Есенин, так и сидеть мне до четырех часов дня в чем мать родила в пустом, запертом на тяжелый замок кафе (сообщения наши с миром поддерживались через окошко).

Куда пойдешь без штанов? Кому скажешь?

Через полчаса явился Есенин. Увидя в окне мою растерянную физиономию и услыша грустную повесть, сел он прямо на панель и стал хохотать до боли в животе, до кашля, до слез.

Потом притащил из «Европы» свою серенькую пиджачную пару. Есенин мне до плеча, есенинские брюки выше щиколоток. И франтоватый же я имел в них вид!»

Молодость и поэтическая одаренность позволяли видеть во всем этом исключительно забавные истории и увлекательные приключения. Бездомным в возрасте, больным было гораздо хуже.

* * *

Коммунальные квартиры возникали всюду, даже в самых, казалось бы, элитных домах. В частности, в роскошном доме на московской улице Солянке, №1/2. Он был построен в 1915 году Варваринским обществом домовладельцев и изначально позиционировался как элитный. Тем не менее, после 1917 года практически все бывшие роскошные квартиры были порезаны на коммунальные.

Краевед Юрий Федосюк вспоминал: «С наплывом людей из провинции некогда богатые многокомнатные квартиры в предреволюционных доходных домах превратились в коммунальные – на несколько семей. Существовал приказ, предписывавший на каждом доме вывешивать жестяные доски со списком ответственных съемщиков – по квартирам. Любопытно было читать эти списки: при каждой квартире значилось до десятка фамилий! Каким-то обратным приказом все эти доски после войны были удалены. Помню случайно уцелевшую в 1961 году в подъезде дома №1 по Машкову переулку: только в квартире №17 была указана одна фамилия – Е. П. Пешкова (вдова А. М. Горького), во всех остальных проживало по нескольку семей; а ведь в доме, комфортабельном и благоустроенном, до революции жили преимущественно представители интеллигенции, профессура и врачи.

Коммунальные квартиры стали непременным и неизбежным атрибутом послереволюционного быта. Можно себе представить, как осложняли жизнь «места общего пользования», кухня, где одновременно шипело несколько керосинок и примусов, вражда случайно объединенных жилплощадью самых разных по культурному уровню и происхождению семей, драка за крохотный участок в коридоре или на кухне: «Опять ваш велосипед весь коридор загораживает», «А вы свой столик на кухне подальше отодвиньте, нечего других оттеснять», «Вы бы хоть научились в уборной воду спускать, теперь лакеев нет», «Не смейте собаку в ванне мыть» и т. п. Входы в квартиры были снабжены либо несколькими «индивидуальными» звонками, либо одним общим, но с многочисленными карточками: Ивановым – один раз, Петровым – два звонка, Сидоровым – два коротких, один длинный и т. д. На самих входных дверях висело по нескольку почтовых ящиков с указанием фамилии и выписываемой периодики».

Детский писатель Владимир Артурович Лёвшин рассказывал о деградации знаменитого дома Пигита, в котором жил он сам, а также Михаил Булгаков: «Дом пятиэтажный… Один из двух его корпусов – тот, что на пол-этажа повыше, выходит фасадом на улицу; другой – буквой П – находится во дворе, куда ведет длинная подворотня. Когда-то две клумбы и фонтан украшали его асфальтовый прямоугольник. В центре фонтана стояла скульптура: мальчик и девочка под зонтом. Теперь на этом месте растут два деревца, огороженные низенькими зелеными колышками.

Проходя мимо дома Пигит теперь, в эпоху пластика и железобетона, вы вряд ли обратите на него внимание: типичный для старой Москвы доходный дом, какие строили в начале века в расчете на «чистую публику». А прежде, до реконструкции Садового кольца, еще не стиснутый громадами каменных соседей, дом выглядел внушительно. Шикарные эркеры, лепные балконы… Нарядный, полукругом выгнутый палисадник отделял здание от тротуара.

Поверх чугунной ограды рвались на улицу тугие соцветия невиданно крупной сирени.

Бельэтаж с длинными балконами на улицу занимал сам Пигит. Компаньон его, владелец гильзовой фабрики Катык («Покупайте гильзы Катыка!»), разместился на четвертом этаже второго корпуса. Кто же еще? Директор Казанской железной дороги Пентка (подъезд №7, отдельный). Управляющий Московской конторой императорских театров, он же художник по совме-

стительству, фон Бооль (это про него шаляпинское: «Я из него весь «фон» выбью, одна «боль» останется!»). А одно время обитал тут даже миллионер Рябушинский – в огромной художественной студии, снятой якобы для занятий живописью, а на самом деле для внесемейных развлечений. Таких, расположенных одна над другой студий в доме три. Рябушинский занимал верхнюю, там и стрелялся, впрочем, без серьезных последствий».

А вот что стало с домом после 1917 года: «Перемены, которые принесла революция, не могли не коснуться и дома Пигит. Постановлением районного Совета из дома выселены «классово чуждые элементы». Взамен исчезнувших жильцов появились новые – рабочие расположенной по соседству типографии. Одни расселились в опустевших помещениях, другие заняли комнаты в квартирах оставшихся. Оставшиеся – это интеллигенты, из тех, кто либо сразу принял революцию, либо постепенно осваивался с ней.

К этому времени относится знаменательное событие в послереволюционной истории дома: он становится первым в Москве, а может быть и в стране, домом – рабочей коммуной. Управление, а частично и обслуживание его переходят в руки общественности. Есть здесь свои водопроводчики, электрики, плотники, врачи. Моя мать, например, медицинская сестра, и ее могут в любое время вызвать к больному… Словом, каждый делает, что может. Все это, разумеется, совершенно безвозмездно».

* * *

Еще один, весьма своеобразный тип советской коммуналки описывали Ильф и Петров в романе «Двенадцать стульев»: «Это была старая, грязная московская гостиница, превращенная в жилтоварищество, укомплектованное, судя по обшарпанному фасаду, злостными неплательщиками.

Ипполит Матвеевич долго стоял против подъезда, подходил к нему, затвердил наизусть рукописное объявление с угрозами по адресу нерадивых жильцов я, ничего не надумав, поднялся на второй этаж. В коридор выходили отдельные комнаты. Медленно, словно бы он подходил к классной доске, чтобы доказать не выученную им теорему, Ипполит Матвеевич приблизился к комнате №41. На дверях висела на одной кнопке, головой вниз, визитная карточка:

Авессалом Владимирович ИЗНУРЕНКОВ

В полном затмении, Ипполит Матвеевич забыл постучать, открыл дверь, сделал три лунатических шага и очутился посреди комнаты.

– Простите, – сказал он придушенным голосом, могу я видеть товарища Изнуренкова?

Авессалом Владимирович не отвечал. Воробьянинов поднял голову и только теперь увидел, что в комнате никого нет. По внешнему ее видникак нельзя было определить наклонностей ее хозяина. Ясно было лишь то, что он холост и прислуги у него нет. На подоконнике лежала бумажка с колбасными шкурками. Тахта у стены была завалена газетами. На маленькой полочке стояло несколько пыльных книг. Со стен глядели цветные фотографии котов, котиков и кошечек. Посредине комнаты, рядом с грязными, повалившимися набок ботинками, стоял ореховый стул. На всех предметах меблировки, а в том числе и на стуле из старгородского особняка, болтались малиновые сургучные печати. Но Ипполит Матвеевич не обратил на это внимания. Он сразу же забыл об Уголовном кодексе, о наставлениях Остапа и подскочил к стулу.

В это время газеты на тахте зашевелились. Ипполит Матвеевич испугался. Газеты поползли и свалились на пол. Из-под них вышел спокойный котик. Он равнодушно посмотрел на Ипполита Матвеевича и стал умываться, захватывая лапкой ухо, щечку и ус.

– Фу! – сказал Ипполит Матвеевич. И потащил стул к двери. Дверь раскрылась сама. На пороге появился хозяин комнаты – блеющий незнакомец. Он был в пальто, из-под которого виднелись лиловые кальсоны. В руке он держал брюки.

Увидев в своей комнате человека, уносящего опечатанный стул, Авессалом Владимирович взмахнул только что выглаженными у портного брюками, подпрыгнул и заклекотал:

– Вы с ума сошли! Я протестую! Вы не имеете права! Есть же, наконец, закон! Хотя дуракам он и не писан, но вам, может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели!.. Я пожалуюсь прокурору!.. Я уплачу, наконец!»

Многообразие форм коммунального быта способно было поразить самое изощренное воображение.

* * *

Константин Бальмонт писал в 1920 году: «Снова я проснулся в холодной постели, в комнате, издавна промерзлой, ибо давно уже нам топить было нечем. Полураскрытыми глазами, чувствуя в душе и в теле утомление безграничное, я смотрел, и все кругом было так, совершенно так же, как это установилось уже много недель и месяцев. Я лежу на диване в комнате, которая когда-то была моим рабочим кабинетом, а теперь стала учреждением всеобъемлющим. Рабочим моим кабинетом эта комната не перестала быть. Шкаф с книгами – поэты и философы, книги по истории религий, много книг по естествознанию – стоит на своем месте: этого у меня никто не отнял. На своем месте и письменный стол; на нем тоже правильные ряды книг и вчера оконченная рукопись, которая никому не понадобится. Она никому и не нужна. Это – нечто о древних мексиканцах. Против меня, у стены, где дверь, – моя кровать. В этой холодной постели, несколько согревая друг друга телесным теплом, спят два близких мне существа. Моя девочка двенадцати лет, изголодавшаяся, ослабевшая, много недель не решающаяся выйти из постели в холодный воздух комнаты, и вовсе не выходящая из дому, потому что выйти не в чем, ее мать, делящая со мной мою жизнь и, несмотря на свои лохмотья, каждое утро бегающая на Смоленский рынок, чтобы раздобыть какой-нибудь съедобы. Но, кроме пшена, что же добудешь? Тут же, около кровати, и печурка, на которой это пшено будет изготовлено».

В стране происходило нечто страшное.

* * *

Под коммуналки переоборудовали и роскошный комплекс из двух зданий, глядящих друг на друга через Петровские линии. Еще в 1874 году «Товарищество Петровских линий» скупило огромный участок земли между улицами Петровкой и Неглинной, отстроило эти два дома, а переулок между ними подарило городу. Застрелив тем самым одним выстрелом сразу двух зайцев – снискало себе славу мецената и обеспечило свободный доступ к многочисленным магазинам, которые арендовали у «Товарищества» помещения.

Здесь размещались магазин книгоиздательства «Посредник», ресторан «Россия», кафе «Элит». Петровские линии освещались редким по тем временам «яблочковыми», то есть, электрическими лампами. Квартиры отличались роскошью невероятной. И все это было безжалостным образом отправлено в прошлое. На смену пришел другой мир – коммунальный.

А вот как выглядела жизнь особняка Самариных на Спиридоновке, №18. Ее описывал Сергей Михайлович Голицын: «Самаринский особняк, одноэтажный, с антресолями, в свое время занимала одна барская семья; к 1922 году он битком набился враждовавшими или дружившими между собой жильцами. В антресоли вела внутренняя, скрипевшая ступеньками деревянная лестница с обломанными резными перилами, кончавшаяся площадкой; там стояли кухонные столы с посудой и с неизменной принадлежностью всех московских квартир – примусами, аппетитно шумевшими с утра до вечера.

С площадки вели три двери. За одной из них была маленькая комнатка, в которой жил старый холостяк – бывший капитан Полозов, о ком еще недавно вздыхала наша тетя Саша;

за годы революции усы его поредели и сам он сильно потускнел. Дальнейшая его судьба сложилась печально: в середине двадцатых годов его посадили, сослали в Коми АССР, где он и умер.

За второй дверью жила студентка-медичка, скромная девушка, время от времени притаскивавшая домой части человеческого тела, отчего на площадке стоял острый запах, смешанный с чадом от примусов и подгорелых кушаний. К уборной приходилось спускаться на первый этаж, а там постоянно оказывалось занято.

Третья дверь вела в просторную комнату, там же находилась широкая, на четыре человека, тахта, стояли старинные кресла и стулья, стояли, висели и просто валялись разные старинные вещи, цельные и разбитые – акварельные портреты самаринских предков, фарфоровые вазы и чашки, бронза и т. д. Окна выходили на крышу первого этажа, куда можно было в хорошую погоду вылезать.

Из этой комнаты шли две двери – за одной находилась маленькая спальня с двумя кроватями, комодом и шкафом. Все там было вычищено, аккуратно застелено подметено. Другая дверь вела в просторную комнату, также с двумя кроватями со скомканными одеялами и грязными простынями и наволочками. Там стояла различная старинная мебель, цельная и поломанная, и грудами валялись многие антикварные предметы, снесенные сюда со всего самаринского дома; все было покрыто пылью и потеряло свой прежний, подчас художественный облик. В комнате витал резкий запах от кучи грязного белья, пахло табачным дымом и мочой. Источник последнего запаха сразу обнаруживался: он исходил от втиснутого в поломанное кресло, перевернутого майоликового бюста царевны Волховы, изваянного Врубелем, и превращенного – искусствоведы, ужасайтесь! в ночной горшок.

В маленькой аккуратной спальне жили моя сестра Лина и девочки Бобринские. Эта комната называлась «раем». Первая, проходная комната называлась «чистилищем» – там спали моя сестра Соня и мой брат Владимир, уволившийся из Главморнина после последней для него экспедиции в Карское море; там же спали задержавшиеся до рассвета гости-мужчины. Комната со скверным запахом называлась «адом», в ней жили два восемнадцатилетних друга – Юша Самарин и Миша Олсуфьев, сын нашего соседа по имению, бывшего владельца Буйц графа Юрия Александровича Олсуфьева».

* * *

Иногда случались странные преемственности. Иосиф Бродский писал в зарисовке «Полторы комнаты»: «Наши полторы комнаты были частью обширной, длиной в треть квартала, анфилады, тянувшейся по северной стороне шестиэтажного здания, которое смотрело на три улицы и площадь одновременно. Здание представляло собой один из громадных брикетов в так называемом мавританском стиле, характерном для Северной Европы начала века. Законченное в 1903 году, в год рождения моего отца, оно стало архитектурной сенсацией Санкт-Петербурга того времени, и Ахматова однажды рассказала мне, как она с родителями ездила в пролетке смотреть на это чудо. В западном его крыле, что обращено к одной из самых славных в российской словесности улиц – Литейному проспекту, некогда снимал квартиру Александр Блок. Что до нашей анфилады, то ее занимала чета, чье главенство было ощутимым как на предреволюционной русской литературной сцене, так и позднее в Париже в интеллектуальном климате русской эмиграции двадцатых и тридцатых годов: Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. И как раз с балкона наших полутора комнат, изогнувшись гусеницей, Зинка выкрикивала оскорбления революционным матросам.

После революции, в соответствии с политикой «уплотнения» буржуазии, анфиладу поделили на кусочки, по комнате на семью. Между комнатами были воздвигнуты стены – сначала из фанеры. Впоследствии, с годами, доски, кирпичи и штукатурка возвели эти перегородки в ранг архитектурной нормы. Если в пространстве заложено ощущение бесконечности,

то – не в его протяженности, а в сжатости. Хотя бы потому, что сжатие пространства, как ни странно, всегда понятнее. Оно лучше организовано, для него больше названий: камера, чулан, могила. Для просторов остается лишь широкий жест

Помимо излишка в тринадцать квадратных метров, нам неслыханно повезло еще и в том, что коммунальная квартира, в которую мы въехали, была очень мала, часть анфилады, составлявшая ее, насчитывала шесть комнат, разгороженных таким образом, что они давали приют только четырем семьям. Включая нас, там жило всего одиннадцать человек. В иной коммуналке число жильцов могло запросто достигать и сотни. Середина, однако, колебалась где-то между двадцатью пятью и пятьюдесятью. Наша была почти крошечной.

Разумеется, мы все делили один клозет, одну ванную и одну кухню. Но кухню весьма просторную, клозет очень приличный и уютный. Что до ванной – гигиенические привычки были таковы, что одиннадцать человек нечасто сталкивались, принимая ванну или стирая белье. Оно висело в двух коридорах, соединявших комнаты с кухней, и каждый из нас назубок знал соседское исподнее.

Наш потолок, приблизительно четырнадцати, если не больше, футов высотой, был украшен гипсовым, все в том же мавританском стиле орнаментом, который, сочетаясь с трещинами и пятнами протечек от временами лопавшихся наверху труб, превращал его в очень подробную карту некой несуществующей сверхдержавы или архипелага. Из трех высоких сводчатых окон нам ничего не было видно, кроме школы напротив; но центральное окно одновременно служило дверью балкона. С этого балкона нам открывалась длина всей улицы, типично петербургская безупречная перспектива, которая замыкалась силуэтом купола церкви св. Пантелеймона или – если взглянуть направо – большой площадью, в центре которой находился собор Преображенского полка ее императорского величества».

* * *

Александр Каплун вспоминал знаменитый нащокинский дом в Воротниковском переулке, тоже превращенный в простую московскую коммуналку: «Квартира в бельэтаже, туда вела мраморная лестница с бронзовыми шариками для крепления ковра. В квартире жило шесть семей. Четыре из них – мои родственники со стороны отца. Самую большую площадь занимали дядя Володя, тетя Аня (старшая сестра отца) и их дочь Мирочка, очень красивая и веселая девушка. Она стала учительницей, потом работала в «Труде». Сын, Марик Новицкий уже жил отдельно. Мы им очень гордились – известный эстрадный артист. Главная особенность дяди Володиных комнат – огромное количество книг. У нас, например, книг было не больше десятка: справочник Нине, автобиография Сталина (подарок отцу от сослуживцев), Краткий курс ВКП (б) и несколько моих сказок. Мама стала покупать книги много позже.

Три семьи жили в бывшей большой комнате, разделенной перегородками на три. Раньше там жила почти вся семья отца: моя бабушка, отец, два его брата и две сестры. Потом папа женился, и отгородили 11 метров с одним окном, потом вышла замуж тетя Рива, женился дядя Митя, они разъехались на Самотеку и к Красным воротам. Женился дядя Яша. отгородили еще 11 метров – получилось три комнаты».

Упомянутые здесь перегородки – вещь очень распространенная в коммунальной квартире. Нормальное жилище превращалось в коммуналки чаще всего наспех и, как думалось, на время. На совсем непродолжительное время. И поэтому перегородки рождались и стояли десятилетиями, переживая не одно поколение людей.

Благодаря этой технологии было прекрасно слышно все, что происходит у соседей. А детям, разумеется, еще и видно – редкий представитель подрастающего поколения не залезал на шкаф, чтобы через перегородку посмотреть на жизнь каких-нибудь там дяди Миши с тетей Дашей.

Да и чужая кошка, спрыгнувшая сверху прямо на стол, уставленный едой, не считалась чем-то сверхъестественным. Ну кошка и кошка. С кем, как говорится, не бывает.

Особо неудобными, конечно, были наиболее роскошные апартаменты. Комнаты в них располагались анфиладами и, соответственно, все коммуналки были проходными. Спишь себе на какой-нибудь барской кровати, а мимо тебя чужая бабушка идет опорожнять свою ночную вазу. Конечно, все, что можно было, занавешивали дорогущими туркменскими коврами и закрывали не менее ценными, коллекционными китайскими ширмами – эти барские безделицы вдруг обретали совершенно неожиданную функциональность. Но комфортным проживанием подобное, конечно, все равно нельзя было назвать.

* * *

Фактически в музей – только без посетителей – был превращен особняк Маргариты Кирилловны Морозовой. Там разместили отдел по делам искусств при Наркомпросе. Саму же бывшую хозяйку пожалели и не выгнали: ей на пару с сестрой Еленой Кирилловной Востряковой предоставили две комнаты в подвальном помещении, где некогда размещалась прислуга.

Художница Ирина Ивановна Соя-Серко вспоминала: «Довольно продолжительное время наша семья жила в подвале, в большой комнате. Здесь было сыро. Довольно продолжительное время наша семья жила в подвале, в большой комнате. Здесь было сыро, солнце не баловало нас. Обувь под кроватями становилась зеленой. Ранней весной нас заливало талыми водами так, что пройти в квартиру можно было только по досточкам, положенным на кирпичи. Окна в квартире были чуть выше асфальта. Рядом с нашими двумя комнатами жил истопник со своей женой, прачкой. Время от времени он напивался и затихал, зато бурно вела себя его жена. В средней комнате жила студентка, а в самой дальней – супруги, рабочие типографии. Умывались все над кухонной раковиной, туалетного мыла не было, мылись стиральным. Но в квартире царил лад, никто не мешал жить другому. Редкие скандалы истопника и его жены встречали снисходительно. Правда «супруг из типографии», приходя с работы, устраивался с баяном и целый вечер пел «Кирпичики», от чего можно было сойти с ума… Несмотря на скудость нашего житья, мы считали, что живем неплохо. У нас были знакомые, друзья, мы ходили в гости, сами устраивали «приемы». Мы придумывали всякие скетчи, шаржи, эпиграммы, шутливые выступления…

Когда в 1934 году нам посчастливилось получить отдельную квартиру, мы были первые из наших родных и знакомых, кто мог жить без соседей. И хоть наша квартира не имела кроме электричества и водопровода никаких удобств, мы были счастливы!»

Все это считалось нормой. В бывшем доме Живаго на Большой Дмитровке продолжал жить сам бывший владелец, сам доктор Живаго (не придуманный Борисом Пастернаком, а живой, настоящий, такой тоже был, служил в Голицынской больнице). Он писал в дневнике: «Поел хлеба при свете огарка, так как в моей комнатке t ниже нуля, поспешил в ледяную постель… Впрочем, это повторяется чуть ли не ежедневно, у нас не топят. В кабинете t доходит до 4 ниже нуля. Пишешь свои работы и дрожишь в шубенке, руки синие, плохо слушаются, а на глазах совсем нередко слезы – до чего дожили?!»

Эта комнатка была единственным жилищем бывшего московского домовладельца. Шел 1919 год.

Интересен отчет о перемещениях старшей дочери Льва Толстого, Татьяны Львовны Сухотиной-Толстой, оставленный Татьяной Алексеевной Фохт: «После революции Таня с Танечкой перебрались в Москву. Сначала они жили при музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке. Там тетя Таня открыла вечернюю студию рисования, где преподавала она сама. Была она хорошей художницей, и преподавал также художник С. А. Виноградов. Я посе-

щала эту студию, но, к сожалению, недолго… Из музея тетя Таня перебралась на Поварскую. Из конюшен были выстроены квартиры».

В ход шло абсолютно любое пространство, имевшее стены, пол и потолок. Окна и двери тут были уже не обязательны.

* * *

Создавали коммуналки и в монастырях. К примеру, в Новоспасском. Там они соседствовали с Московским историческим архивом, угольным и древесными складами, котельной мебельной фабрики и вытрезвителем.

Впрочем, в 1960-е все это разношерстное хозяйство выселили, саму же бывшую обитель отвели под реставрационные мастерские имени Игоря Грабаря, так называемые «Грабари». А в 1990 году его вернули верующим.

В 1925 году в Ильинской башне Китай-города проживали несколько студентов Московской Духовной академии. А рядышком, в самой стене, расположилась одна из многочисленных воровских шаек. Люди осваивали чердаки, подвалы. Дворницкие вообще считались шиком. Под жилье шло все.

Искусствовед и реставратор Елена Владимировна Трубецкая писала в дневнике: «В расход отправилось и специфическое помещение, расположенное в здании бывших курсов Герье, ныне Московский педагогический государственный университет». Биохимик Илья Збарский, сын директора лаборатории при Мавзолее Ленина Бориса Збарского писал: «В ноябре 1939 года я наконец женился на Ирине Карузиной… В связи с этим я переехал в квартиру уже покойного Петра Ивановича, находившегося в здании Анатомического корпуса… Мы с Ириной поместились в бывшем кабинете профессора Карузина. У нас была отдельная комната и, что особенно важно, не приходилось ждать очереди в уборную, к умывальнику и к телефону и следить, когда ванная комната на короткий срок освободится от навешанного там белья и, наконец, можно будет использовать ее по назначению. Но в квартире все же было тесновато».

Выходит, что соседство с трупами вовсе не раздражало молодого мужа.

А некогда популярный адвокат Николай Адрианович Сильверсван совершенно неожиданно обосновался на Собачьей площадке, в историческом особняке Хомяковых. Большую его часть занимал Музей 40-х годов (естественно, имеются в виду сороковые годы XIX века), а в одной из комнат – адвокат со своей женой Еленой Владимировной. Вероятно, как раз через эту жену – она служила в Третьяковки. Ну и адвокатские способности наверняка не оказались лишними.

* * *

Какими только правдами-неправдами советский человек вселялся на вожделенные квадратные метры! Чего только он ни предпринимал? Каких только курьезов не было в тогдашнем советском жилищном хозяйстве. Вот, например, воспоминания Лидии Борисовны Либединской: «Жили мы всей семьей в одной комнате, которую отец получил в центре Москвы от «Общества возрождения Китая» – было в начале двадцатых годов такое общество! Чем оно занималось, я не знаю. В нашем доме жил один-единственный китаец, который, когда мне минуло тринадцать лет, вдруг объяснился мне в любви и даже сочинил русские стихи:

Люди живут, как цветы цветут,
Моя голова вянет, как трава…»

Особенно активно переоборудовать под коммуналки всяческие рода помещения стали после окончания Великой Отечественной войны. Люди стали жить в сараях, в складских помещениях, в кладовых, в храмах, в котельных. Все это, естественно, не украшало город.

* * *

Удивительно, но коммунальные квартиры были изначально предусмотрены даже в так называемых сталинских высотках, которые изначально строились как этакое воплощение советской роскоши. Но, видимо, официальная идеология равенства и братства мешала заселить их исключительно профессорами, композиторами, партийными деятелями и офицерами КГБ. Некоторые квартиры были отданы рабочим. С другой стороны, все прекрасно понимали, что отдельная квартира в таком доме – чересчур роскошно для простого токаря с Завода имени И. А. Лихачева. Это, впрочем, понимал и сам рабочий и охотно заселялся в коммуналку с видом на Москву-реку или Кремль.

В коммуналки превращались и роскошные дореволюционные особняки, которые, казалось бы, никак не подходили для подобных целей. К примеру, особняк – практически, дворец – семейства Тютчевых в Москве, в Армянском переулке. Он, впрочем, еще ранее использовался как Дом соцобеспечения имени А. Н. Некрасова, описанный в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» как дом №2 Старсобеса. Именно тут действовали Альхен, Сашхен и Паша Эмильевич, а Остап Бендер искал воробьяниновский стул и запускал огнетушители. Когда же богадельню упразднили, в доме разместили всевозможные конторы, магазины, а часть отвели под коммунальное жилье.

Под коммуналки была перекроена целая область – Калининградская, бывшая Восточная Пруссия, отошедшая к СССР в 1945 году по Потсдамскому соглашению. Она активно заполнялась гражданами двух типов – военнослужащими и так называемыми переселенцами. Жилье требовалось и тем и другим. И если рядовой состав спокойно размещали в многочисленных казармах, то офицерам и гражданским требовались квартиры. Читай, коммуналки.

Если офицеры изначально знали, на какие именно лишения идут, надев погоны, то с гражданскими поступили, мягко говоря, по-свински. Им обещали молочные реки с кисельными берегами – собственные особняки, богатые подъемные, рогатую скотину и так далее. Действительность была совсем иной. Оперативные сводки регулярно заполняли сообщения такого плана:

«На улице Энергетиков в доме №71 на 2-м этаже в комнате площадью 22 м кв. проживает 11 человек (семьи рабочих Стовцевой, Дажиной и Вуколовой), на этом же этаже в другой комнате площадью 25 м кв. проживает 15 человек… Эти комнаты находятся в антисанитарном состоянии, а именно: стены, потолки заплесневелые, полы грязные, жесткий и мягкий инвентарь отсутствует, все проживающие рабочие вповалку спят на полу»;

«На улице Каретная, дом 12, в помещении бывшей мертвецкой-крематория проживает 4 семьи рабочих… Помещение под жилье совершенно непригодно, нет окон, отопительная система отсутствует, полы цементные, в помещении масса крыс, по заявлению Алексеевой есть случаи укуса живущих крысами».

И так далее.

Впрочем, борьбу с крысами, не долго думая, отдали на откуп собственно переселенцам. В области издали вот такую директиву:

«а) широко разъяснять населению вред, наносимый грызунами, меры борьбы с ними…

б) организовать во всех населенных пунктах и на полях проведение работ по массовому уничтожению грызунов, привлекая для этой цели все хозяйственные, общественные организации и местное население. Создать до 10.XII-46 г. в городах, рабочих поселках и райцентрах

специальные отряды для уничтожения грызунов, обратив особое внимание на борьбу с грызунами в разрушенных зданиях, пустырях, местах свалок;

в) в учреждениях и на предприятиях выделить ответственных лиц за проведение работ по уничтожению грызунов».

Не редки были происшествия такого плана: «14 декабря 1947 года по Комсомольской улице в доме №2 произошел обвал стены, в результате которого погибла семья в составе 7 человек. Обвал произошел в силу воздействия большого количества осадков на ветхие стены здания при отсутствии крыши на последнем».

Об обещаниях никто уже не вспоминал – остаться бы в живых.

Впрочем, и здесь жизнь налаживалась. И вскоре власти радостно рапортовали: «Бескоровность среди переселенцев 1949 года ликвидирована, за исключением тех семей, которые имели скот, но по разным причинам сами продали, прирезали или не имеют на руках справки о бескоровности».

* * *

Вообще, после войны, вследствие очередного перераспределения людей по территории страны, вопрос с жильем стал с новой остротой. Вот один из докладов тех лет: «К нам сейчас много приезжает немосквичей, которые ранее в Москве не проживали, которые попадают сюда разными обманными путями, указывая в части, что у них в Москве проживают близкие родственники, а на самом деле у них тут никого нет. Одна категория немосквичей, которая приезжает сама. Другая категория, когда представители заводов вербуют демобилизованных из других областей и сюда их привозят, как, например, заводы „Богатырь“ и „Буревестник“, которые завербовали и привезли сюда по 100 человек для работы в Москву. Их и на военный учет не принимают, и не прописывают, и здесь для этих демобилизованных создается тяжелое положение».

Комната в коммуналке, которую вроде бы, совсем недавно, принято было клеймить в сплетнях, анекдотах, фельетонах, вдруг снова стала пределом мечтаний. Один из московских чиновников докладывал летом 1945 года: «Большой недостаток и самый главный – это вопрос с жильем. Тут районами проделана работа, но все же этот вопрос еще является узким местом. Общежития, которые мы отметили в решении бюро МГК ВКП (б), не во всех районах сданы. Во-первых, их в некоторых районах скрывают, и, во-вторых, некоторые общежития, как в Ленинском районе, очень плохие, и туда никто не поедет. У нас по всем районам имеется общежитий на 1500 коек. Но тут вопрос осложняется тем, что некоторые демобилизованные думают, что если они сразу не получат комнату, а вселятся в общежития, то они там так и останутся, и лучше им сразу нажимать на комнату. Плохо делают общежития Дзержинский и Коминтерновский районы, которые должны были организовать общежитий на 48 коек, а сделали на 11».

Была еще одна проблема, тоже связанная с жильем для вчерашних воинов: «Как-то звонил т. Пушкин и сообщил, что тех демобилизованных не принимают на старые места работы, которые раньше жили в общежитиях или у которых комната была, но семья находится в эвакуации, а он демобилизован. Некоторые учреждения и предприятия стараются таких демобилизованных не брать, чтобы не предоставлять им жилплощади. Здесь, очевидно, должен быть соответствующий нажим со стороны нас, потому что людей на старые места надо возвращать. Я имею в виду Академию им. Фрунзе, там человек работал и жил, а сейчас его не берут, ему отказывают. Это неправильно».

Даже те, у кого были заветные комнаты, не чувствовали себя в них уютно: «Так, например, т. Илюшин вернулся с фронта 17 июля, семья у него состоит из 5 человек, потолок в его комнате обвалился. Тов. Илюшин в течение 2 лет требовал ремонта комнаты его семьи, писал

с фронта неоднократные письма в райсовет, и от райисполкома т. Илюшин получил ответ, что его комната отремонтирована, и его семья хорошо устроена. В действительности никакого ремонта проведено не было. Демобилизованный красноармеец Шамин – семья его состоит из 9 человек, дочь и сын в армии, дом, в котором он проживает, требует капитального ремонта. Во время дождя крыша протекает, и в комнате текут лужи, однако там ремонт не производится. Получилось как раз очень некрасиво, потому что пришел первый берлинский эшелон, был дождь, он приходит к себе домой, а в комнате тазы, корыто. В этом же районе демобилизованный Егоров живет в комнате, которая совершенно непригодна к жилью: крыша протекает и пр. И в других районах тоже такое же положение, особенно тяжелое положение в Дзержинском районе… Например, там имел место такой случай: демобилизованный Никонов имеет семью из 5 человек – детей и жены. В результате большого разрушения квартира пришла в негодность, и они переселились жить на кухню. 19 июля кухня обвалилась, и они стали ютиться в ней по краям. После обвала т. Никонов обратился с вопросом ремонта в жилотдел, и начальник жилотдела ему ответил, что они кухню перегрузили, обвал произошел не по его вине, и делать он ничего не будет. У Петрикова жена и дочь, жена очень сильно больна туберкулезом, живут под лестницей, и никаких мер со стороны районных организаций не принимается, чтобы их переселить. Демобилизованный Титков вернулся из армии 17 июля, семья его состоит из 4 человек. Дом, где они проживают, разрушен, и их переселили на площадь эвакуированных, которые вернулись, и они вот уже более 2 месяцев под лестницей. Демобилизованный Орлов – семья состоит из 14 человек, 2 дочери вернулись с фронта, мужья их в армии, сын – инвалид Отечественной войны, а жилплощади нет, комната разрушена».

А вот еще информация, подготовленная оргинструкторским отделом МГК ВКП (б):

«Инвалид т. Сельченков с семьей в 7 человек, из них 6 малолетних детей, проживает… в грязном, полуподвальном помещении в 11-метровой комнате, где пол прогнил, одна стена из фанеры худая. Тепло в комнате не держится, так как наружная дверь разрушена. Несмотря на ряд заявлений т. Сельченкова в райжилуправление, ремонт не произведен. В аналогичных условиях проживает в этом же дома, кв. 68, инвалид т. Шерель…

Тов. Фоменков (Тимирязевский район), совершенно слепой, ампутирована одна нога, не может выписаться из госпиталя, так как в его комнате пол прогнил, печка проваливается, рама неисправна…

Инвалид т. Ларионов (Железнодорожный район) после ампутации обеих ног в мае 1944 года вернулся в Москву. Но его комната оказалась занятой и, несмотря на решение народного суда о выселении жильцов, комната в течение полутора лет не освобождается. Тов. Ларионов вынужден жить вместе с семьей сестры в маленькой комнате и спать на полу.

Инвалид т. Орлов (Дзержинский район) живет с семьей в полуподвальном помещении… В комнату просачивается подпочвенная вода, на полу проложены кирпичи и доски, по которым ходит семья. Поедседатель райсовета т. Полякова отказала т. Орлову в предоставлении другой комнаты…

Инвалид т. Пашенцев (Ленинградский район), оставшийся без ног, проживает с семьей – жена и двое малолетних детей… в сырой комнате, оконная рама сгнила от сырости, стояк вышел из строя…

Тов. Клестов несколько раз образался в райисполком Сталинского района с просьбой произвести ремонт комнаты… в которой с потолка и стен течет, от сырости отвалилась потолочная штукатурка. Печь неисправна, пищу готовить не на чем…

Инвалид. младший лейтенант т. Гольдин в августе с. г. вынужден был подать заявление в ЦК ВКП (б) на невнимание к нему со стороны оаботников Москворецкого райсобеса. Он писал: «Я – слепой, мне нужен провожатый. Во время моего пребывания на фронте вещи в комнате расхитили, мне также нужны пальто, обувь, белье. На мои обращения в райсобесе отвечали: «Мы офицеров не обеспечиваем. Идите в Военторг» «».

Словом, проблем хватало, и не шуточных.

* * *

Вместе с тем, в довоенные, военные и, тем более, послевоенные годы, первоначальный коммунальный ажиотаж начал заметно спадать. Показательны воспоминания поэта Константина Ваншенкина: «Я учился с Толей Клочковым в геологоразведочном институте, жил далеко за городом – мест в общежитии не было – и совсем начал выбиваться из сил, когда они пригласили меня жить к себе. Время было радостное, только – только отменили карточки, но все равно было еще трудно, а они брали с меня не всю стипендию – даже оставалось на курево.

Клочковы жили в старом рабочем районе, за Павелецким вокзалом, в трехэтажном кирпичном доме. По ночам поблизости слышались звуки бодрствующей железной дороги: прокатывающийся гром сдвигаемых составов, короткие сигналы маневровых паровозов.

В квартире было десять или одиннадцать семей. Когда-то здесь жил фабричный управляющий, а после революции сюда вселили рабочих. Они переженились, повыходили замуж, пошли дети, народу сильно прибавилось, стало совсем тесно, но все привычно и по возможности дружно жили в этой квартире с двумя уборными и огромной кухней на три газовых плиты. Здесь вырос и Толя Клочков.

У них было две комнаты. В совсем крохотной, метров пяти-шести, жили бабушка и ее младший сын, Толин дядя – Коля. Он был только на год старше меня и еще служил в армии, в погранвойсках, откуда позже тогда отпускали. Бабушка была тихая, неприметная, но всегда ощущалось ее живейшее участие в общей жизни. И еще она была по натуре очень добрая – подбрасывала Толе карманных деньжат, а мне часто говорила: «Ешь, сынок, в аппетит, пока пупок отлетит!..»

И Толина мать унаследовала ее характер.

Мы, остальные, жили в большей комнате, метров двадцати. Толины родители спали на широкой кровати, сестренка Лида на детской, из которой уже вырастала – ей было одиннадцать лет, – Толя на диване, я на сундуке.

Этот сундук у двери был немного коротковат для меня».

При таких более чем стесненных обстоятельствах взять к себе жить еще оного человека, да практически на правах члена семьи – отдавал часть стипендии на общее хозяйство, оставлял себе на сигареты и карманные расходы! Удивительный поступок – как с точки зрения нынешнего обывателя, так и стесненного со всех сторон горожанина 1920—1930-х годов.

Тогда же это было нормой.

* * *

Находилось место и какой-то совершенно необъяснимой, бескорыстной доброте. Старый москвич Владимир Юринский писал в мемуарах: «Запущенность иных фасадов и дворов казалась печатью времени, как паутина икон, картин старинных мастеров, гравюр в музеях. Свежеокрашенные особняки старинных усадеб теряли что-то в облике своем, воспринимались театральными декорациями. Нетронутые кистью маляров, влекли к себе патриархальной тайной, какой-то одухотворенностью. Тихие московские старушки, сидящие на скамьях возле них, представлялись героинями романов Тургенева, Толстого, Достоевского. Матери Валерия Старых и Мишки Этова прожили всю жизнь в тесных комнатах коммунальных квартир с общими кухнями и длинными коридорами. Тихим голосом, за вечерними чаями, грустно поблескивая старчески выцветшими добрыми глазами, неспешно рассказывали они о жизни после Первой мировой войны, после революции, о послевоенной реформе, столпотворениях на площадях

в дни похорон Сталина, о разных семейных событиях, воздушных тревогах, шумных майских демонстрациях в дни их молодости.

Спать меня укладывали на раскладушках, ставя их в проходе комнаты. Семья Старых жила втроем в двадцатипятиметровой. Кроме Валерия здесь жил его старший брат. А у Этовых, в старом поповском деревянном доме, в двух маленьких комнатках обитали родители и сам Михаил с женой и годовалым сыном… Так что больше двух-трех дней подряд было неудобно оставаться ночевать».

В том, чтобы, несмотря на ужасающую тесноту, оставить на ночь, фактически, совершенно чужого человека, не видилось ничего странного.

* * *

Время шло, и коммуналки становились мягче, уходила суровость, появлялась романтика. Вот воспоминания одного из ленинградцев: «Дом №12 – большой, жильцов была тьма, но знали мы всех, и жизнь каждого из нас была частицей жизни всего дома. Праздники – помогали украшать дом, субботник – все как один. Учение МПВО – опять вместе со взрослыми: дежурили у ворот и на крыше с противогазами, таскали на чердак песок и наблюдали за воздушной обстановкой. И, как потом оказалось, не зря. В красном уголке торчали постоянно и на собраниях квартиросъемщиков, и на лекциях о международном положении. На концерте самодеятельности значились в активистах – кто с балалайкой, кто с куплетами. Жили в доме и коренные питерцы, и выходцы из деревень. Люди разного материального достатка и образования, разных национальностей, верующие и безбожники, но, общаясь, ощущали не различия – близость, одним словом – довоенные ленинградцы. В этой людской добросердечности росли мы, подростки, она была нашими дрожжами».

* * *

Интересна история Музея В. А. Тропинина и московских художников его времени (Щетининский переулок, 10). Этот маленький особнячок выстроили еще до революции для семьи Петуховых. И еще в середине XX века им формально владел пожилой Николай Григорьевич Петухов. Фактически же, это была коммуналка – власти постоянно подселяли к Петухову квартирантов. При этом оплачивать отопление, электричество, ремонт и прочие коммунальные нужды (а они в особняке обходятся значительно дороже, чем в простой квартире) должен был Николай Григорьевич – как собственник. Правда, с жильцов – в соответствии с расценками того времени – собирали некую арендную сумму, и некая ее часть даже доходила до петуховского кармана, но это, разумеется, были гроши.

На протяжении нескольких десятилетий несчастный Петухов пытался подарить свою весьма обременительную недвижимость государству. Государство отказывалось. Казалось, что это вообще никогда не закончится.

В конце концов Николай Григорьевич завещал свой домик коллекционеру Феликсу Вишневскому, после чего тихим образом скончался. Тот же пошел по пути, протоптанному еще дореволюционными собирателями – открыл в особняке частный Музей Тропинина и незамедлительно передал его в дар государству, не забыв оговорить для собственного проживания небольшой апартамент. От подобного подарка отказываться было как-то не с руки. Музей поступил на баланс Министерства культуры. Дом перестал быть коммуналкой.

* * *

Строились новые дома – красивые, даже роскошные. Но коммунальная культура, словно тараканье стадо, проникало и туда. Даже самые знаковые, резонансные постройки не могли быть полностью свободными от этой социальной заразы.

Взять хотя бы гостиницу «Украина». Пафосное, богато декорированное здание высотой 206 метров и общей площадью более 88 тысяч квадратных метров. Один только шпиль тянулся на 73 метра. «Украина» до сих пор считается самой высокой гостиницей в Европе и самой высокой гостиницей в России. На момент запуска в эксплуатацию она также считалась самым высоким отелем в мире, но в 1976 году эта честь отошла к гостинице «Вестин-Пич-Плаза» в Атланте (США). Ее высота 220 метров.

Номера были выполнены по последнему слову прогресса – в них была оборудована бесшумная система вентиляции и принудительного подогрева, а также специальная система пылеудаления. А в квартирах, на кухнях были встроены две холодильные камеры – летняя на электричестве и зимняя естественного охлаждения.

Один из соавторов, архитектор Вячеслав Олтаржевский, поправ скромность, писал: «Из всех строящихся высотных зданий гостиница на Дорогомиловской набережной занимает наиболее выгодное по своей живописности положение. Величественным мощным силуэтом стройное богатое пластикой здание гостиницы возвышается над берегом Москвы-реки на широко раскрытой площади… Живописный озелененный ковер партера с фонтанами, лестницами и террасами спускается от лестницы к гранитной набережной реки, с которой монументальные лестницы ведут к площадке пристани речного флота… В ясный спокойный летний день эта живописная панорама дополняется отражением в воде силуэта белокаменного здания, завершенного позолоченным шпилем».

В разное время в ее номерах останавливались Роберт де Ниро, Марчелло Мастроянни, Патрисия Каас, Армен Джигарханян, Алиса Фрейндлих, Раймонд Паулс, Тамара Гвердцители, Чингиз Айтматов, Эдита Пьеха, Херлуф Бидструп, Мишель Легран, Святослав Рерих, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук. Особенной славой пользовался ресторан. Правда, некий иностранец написал, что «завтракая в зале ресторана, испытывал на себе всю степень тяжести здания, пафса, излишней помпезности и собственной ничтожности». Что поделать – вся советская архитектура той эпохи отличалась подавляющим величием.

Один из героев романа Эфраима Севелы «Мужской разговор в русской бане» описывал этот отель: «Гостиница – не из обычных. Простой люд туда и сунуться не может. В ней живут важные заграничные гости, а из наших, советских, только те, кто ходит в высоких чинах или чем-то очень прославился. Все тридцать этажей, тысяча комнат, как соты, набиты отборной, исключительной публикой… Гостиница „Украина“ гудела как улей, и шесть скоростных вместительных лифтов мчали вверх и вниз потоки людей. На самом верху был ночной ресторан, открытый до утра. Он был единственным такого рода в Москве. И внизу два нормальных огромных ресторана. Хрустальные люстры, бронза, мрамор. Три джаз-оркестра. На дамах дорогие меха, мужчины одеты у лучших портных. Сливки общества. Вот куда я затесался».

Одной из основных изюминок гостиницы стала коллекция советского изобразительного искусства. Оно здесь представлено во всех возможных формах – и в скульптуре, и в мозаике и в живописи. Речь не только об оформлении самого здания и его интерьеров – множество дорогих полотен украшает стены. Работы уровня Дейнеки и Поленова специально приобретались для оформления отеля.

Наибольшее же любопытство вызывают все же не полотна видных мастеров – в любом случае в Третьяковке их будет больше – а диорама Ефима Дешалыта «Москва – столица СССР», изображающая Кремль и центр Москвы 1970-х годов в масштабе 1:75. Общая площадь диорамы – 306 квадратных метров (изначально было 400 квадратных метров, но часть произведения утрачена), специальная система освещения реагирует на смену времен суток, создавая соответствующую световую иллюзию. Разумеется, предусмотрено и звуковое сопровождение.

И что же? Хрущев, пришедший к власти еще до завершения строительства, лично отдал команду переоборудовать боковые флигели под обычные квартиры – якобы для гостиницы пространства было слишком много. В квартиры же въехали актер Борис Бабочкин, режиссер Сергей Герасимов, фигуритска Людмила Пахомова и другие известные люди.

И среди тех квартир, как ни парадоксально, были коммуналки. Да что там – и в самих «хрущевках», призванных освободить советских граждан от совместного сортира, они тоже были. И в одной из таких коммуналок прошло мое детство.

Что к чему?
Организация пространства

Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой
Соседушка с соседушкою баловались водочкой.
Все жили вровень, скромно так: система коридорная,

На тридцать восемь комнаток всего одна уборная.
Здесь зуб на зуб не попадал, не грела телогреечка.
Здесь я доподлинно узнал, почем она, копеечка, —

пел Владимир Высоцкий в «Балладе о детстве».

Большинство наших современников знают о логистике советской коммунальной квартиры именно по этой песне и некоторым ей подобным, а также по добрым ностальгическим фильмам вроде «Покровских ворот».

Что ж, и в песнях, и в фильмах есть своя доля правды. В частности, эта правда – правда «Баллады о детстве» – подтверждается мамой Высоцкого Ниной Максимовной: «Замечательный был этот дом 126… В доме была коридорная система, ранее это была гостиница «Наталис». Коридоры широкие, светлые, большая кухня с газовыми плитами, где готовились обеды, общались друг с другом хозяйки, производились стирки, в коридоре играли дети. Народ в нашем доме был в основном хороший, отзывчивый, почти в каждой семье было несколько детей. Мы тесно общались семьями, устраивали совместные обеды и чаепития, в трудные моменты не оставляли человека без внимания, случалось, и ночами дежурили по очереди у постели больного.

В праздничные дни тут же, в широкой части коридора, устраивались представления и концерты. Действующими лицами были дети. Володя тоже принимал в них участие. У него была прекрасная память, он выучивал длинные стихи, песни, частушки, прекрасно и выразительно читал их».

Тот же Владимир Семенович прославил и другой московский коммунальный дом – №15 по Большому Каретному переулку. Здесь прошло его детство. Он обозначил этот факт в своей известной песне:

Где мои семнадцать лет?
На Большом Каретном.
Где мои семнадцать бед?
На Большом Каретном.
А где мой черный пистолет?
На Большом Каретном.
А где меня сегодня нет?
На Большом Каретном.

Упоминался тот дом и в другой песне Высоцкого:

В этом доме большом раньше
пьянка была
Много дней, много дней.
Ведь в Каретном ряду первый дом

от угла —
Для друзей, для друзей.

За пьянками, гулянками, за банками,
полбанками,
За спорами, за ссорами – раздорами
Ты стой на том, что этот дом
Пусть ночью и днем всегда твой дом,
И здесь не смотрят на тебя с укорами.

Высоцкий, родившийся в 1938 году, жил здесь с конца 1940-х до конца 1950-х годов. Самое-самое время, чтобы пробовать жизнь на зубок.

Кстати, даже черный пистолет в той знаменитой песне имел свой прототип. Школьный товарищ Высоцкого Игорь Кохановский рассказывал: «Или вот песня «На Большом Каретном». Там стояла наша школа, и там жил Володя, а в этом же доме жил его хороший друг и даже хороший родственник – Анатолий Утевский. Толя учился в той же школе и был двумя классами старше нас. Он был из семьи потомственных юристов и, когда окончил школу, поступил в МГУ на юридический факультет… Утевский проходил практику на Петровке, тридцать восемь. И ему дали пистолет – черный такой, помните: «Где твой черный пистолет?!"…».

Сам Высоцкий вспоминал то время, ту свою «каретную» компанию: «Это было самое запомнившееся время моей жизни. Позже мы все разбрелись, растерялись… Но все равно я убежден, что каждый из нас это время отметил… Можно было сказать только полфразы, и мы друг друга понимали в одну секунду, где бы ни были; понимали по жесту, по движению глаз – вот такая была притирка друг к другу. И была атмосфера такой преданности и раскованности – друг другу мы были преданы по-настоящему… Сейчас уже нету таких компаний: или из-за того, что все засуетились, или больше дел стало, может быть».

* * *

Но жизнь, как обычно бывает, гораздо богаче и разнообразнее.

Коммунальная квартира начиналась с коридора. Нет, даже не с коридора – с входной двери. Когда деревянной, а когда обитой дерматином. Других вариантов не было. Замок – элементарнейший. Нет смысла ставить что-либо надежное и дорогое, если квартира – не крепость, а проходной двор. «Правила внутреннего распорядка в квартирах» от 1929 года даже специально оговаривали: «Входные двери черного и парадного ходов должны быть всегда на запоре».

Это положение, однако, то и дело игнорировалось.

В СССР тогда вообще не уделялос слишком пристального внимания замкам. Лишь бы видимость была. Ильф и Петров писали в фельетоне «Равнодушие» в 1932 году:

«Был дом, счастливый дом, семьдесят две квартиры, семьдесят две входных двери, семьдесят два американских замка. Утром жильцы уходили на работу, вечером возвращались. Летом уезжали на дачи, а осенью приезжали назад.

Ничто не предвещало грозы. О кражах даже не думали. В газетах отдел происшествий упразднен, очевидно за непригодностью уголовной тематики. Возможно, что какое-нибудь статистическое ведомство и выводит раз в год кривую краж, указывающую на рост или падение шнифа и домушничества, но граждане об этом ничего не знают. Не знали об этом и жильцы счастливого дома в семьдесят две квартиры, запертые семьюдесятью двумя массивными американскими замками – производство какой-то провинциальной трудовой артели. Отправляясь в свои предприятия и учреждения, жильцы беззаботно покидали квартиры.

Сперва обокрали квартиру номер восемь. Унесли все, кроме мебели и газового счетчика. Потом обокрали квартиру номер шестьдесят три. Тут захватили и счетчик. Кроме того, варварски поломали любимый фикус. Дом задрожал от страха. Кинулись проверять псевдоамериканские замки, изготовленные трудолюбивой артелью. И выяснилось. Замки открываются не только ключом, но и головной шпилькой, перочинным ножиком, пером «рондо», обыкновенным пером, зубочисткой, ногтем, спичкой, примусной иголкой, углом членского билета, запонкой от воротничка, пилкой для ногтей, ключом от будильника, яичной скорлупой и многими другими товарами ширпотреба. К вечеру установили, что если дверь просто толкнуть, то она тоже открывается.

Пришлось завести семьдесят третий замок. Это был человек-замок, гражданин пятидесяти восьми лет, сторож по имени Евдоким Колонныч. Парадные подъезды заколотили наглухо. И сидит теперь старик Колонныч при воротах, грозя очами каждому, кто выходит из дома с вещами в руках. И платится Колоннычу жалованье. И уже закупается Колоннычу на особые фонды громаднейший тулуп для зимней спячки. И все же дом в страхе. И непрерывно в доме клянут ту буйную артель, которая бросила на рынок свое странное изделие.

А ведь артель знает, что ее продукция отмыкается и пером «рондо», и простым пером, и вообще любой пластиночкой. И работники прилавка знают. И начальники торгсектора в курсе. И все-таки идет бойкая торговля никому не нужным миражным замком – продуктом полного равнодушия».

* * *

Авторы лишь мельком коснулись тут довольно странного, не постижимого и до сих пор ни кем толком не разъясненного явления – тотальное закрытие парадных подъездов и перевод всего человеческого трафика на черные лестницы, которыми раньше пользовалась исключительно прислуга.

Теорий существует множество. И то, что новая власть, сама, фактически, вышедшая из класса прислуги, продолжала считать себя таковой, и на парадных лестницах ей было некомфортно. И то, что эти самые парадные лестницы требовали освещения, отопления и уборки в гораздо большей степени, нежели черные, а новая власть была вынуждена экономить на всем.

Интересную теорию изложил писатель Юрий Маркович Нагибин: «С самого своего возникновения советская власть наложила запрет на парадные двери и проходные дворы. И в тех, и в других виделась возможность бегства. Лишь в середине тридцатых открыли ворота в Сверчков, а перед войной отомкнули парадный ход. К тому времени уже всех поймали, и бежать стало некому».

Несмотря на очевидную эпатажность этой мысли, нечто разумное в ней явно есть.

* * *

Впрочем, покинем уютное пространство любительской культурологии, и вернемся на старую добрую коммунальную лестницу. Точнее, на так называемую лестничную площадку.

Рядом с дверью – совершенно фантастический натюрморт из множества разнокалиберных звонковых кнопок и разнокалиберных же проводов, к ним подходящих. Часть закрашена краской (в основном, терракотового цвета), а часть нет. Отсюда сразу можно сделать вывод: те жильцы, у которых кнопки с проводами чистые вселились позже, уже после того, как здесь в очередной раз делали ремонт и «подновляли» дверь. Жильцы с закрашенными кнопками, соответственно, являются своего рода старожилами.

Фамилии жильцов значатся здесь же, на таких же не похожих друг на друга бирочках. «Ивановы». «Петровы». «Смирнов Александр Иванович». «Попандопуло». «Меерсон». До десятка, а иной раз и больше.

В тех коммуналках, где соседи более-менее дружные, кнопка была одна. И бирка тоже. Но большая:

«Ивановы – 1 зв.
Петровы – 2 зв.
Смирнов Иван Иванович – 3 зв.
Попандопуло – 4 зв.
Меерсон – 6 зв».

Что случилось? Почему вдруг Меерсону – шесть? А пять тогда кому?

Да никому. Может быть, жил здесь еще какие-нибудь Кимы или Интрилигатор-Козлевичи. Жили, да съехали. Сами или под конвоем – подробность в данном случае несущественная и даже сильно нежелательная. А на их место заселились, например, Петровы. А Меерсону как звонили шесть звонков, так и звонят, не переучиваться же из-за такой-то мелочи. Или не мелочи?

Словом, история покрыта мраком.

* * *

И уже потом, за дверью следовал коридор. Как правило, огромный, но при этом очень тесный. Не удивительно – места в комнатах не хватало на весь скарб, накопленный подчас десятилетиями.

Вот воспоминания Лидии Либединской о коммунальной квартире на Покровском бульваре, в котором жила поэтесса Марина Цветаева:

«Свернув с бульвара в один из покровских переулков, мы с Алексеем Кручёных вошли в полутемный подъезд большого «доходного» дома и вот уже поднимаемся на лифте куда-то очень-очень высоко (а может, это мне только кажется?), звонок в дверь, такая же полутемная прихожая коммунальной квартиры, загроможденная сундуками. Тяжелая дубовая вешалка, где-то под потолком велосипед, неподвижный, а потому беспомощный. В квартире идет ремонт, пол проломлен, белая меловая пыль покрывает все.

Дверь открыл высокий широкоплечий юноша в кожаной куртке на молнии. Это сын Марины Ивановны Георгий, Мур, как его называли дома. Он попросил нас пройти в комнату».

Краевед Яков Миронович Белицкий вспоминал о скромном обиталище Ильи Ильича Шнейдера, секретаря Айседры Дункан: «Теперь, когда проходишь по этому коридору, с расположенными на видных местах книгами, плакатами и диаграммами, даже мне, не раз бывавшему здесь раньше, трудно вспомнить, где была его комнатка… Я помню этот коридор узким и темным, с длинным и унылым рядом обшарпанных дверей, за которыми бесконечно и разноголосо шумела московская коммуналка… Мне и сейчас еще слышится, как на кухне шипят, обливаясь кипящим молоком и щами, керогазы и примусы, хотя, возможно, это наплыв более давних и совсем других воспоминаний».

* * *

Первое время в коммунальных коридорах часто ночевали домработницы. До революции это явление было распространено повсеместно. Нищий студент мог оказаться от горячих обедов, от кофе и чая, иметь лишь одну пару обуви – но домашняя работница у него была,

хотя бы приходящая. Эта традиция настолько прочно въелась в мозг, что долго не могла оттуда выбраться. Власти разрушали храмы, освобождали угнетенные народы, создавали те же коммуналки – и при этом спокойно мирились с институтом домашних работниц. Видимо, чтобы не увеличивать и без того катастрофические нагрузки на биржи труда.

В свою очередь, еще до революции многие практически (а кто-то и фактически) породнились со своей прислугой. Не только бывший барин не мог представить свою жизнь без домработницы – и домработница не представляла, как это она вдруг окажется предоставлена сама себе, боялась такой перспективы до желудочных колик. К тому же некоторые крестьянки, оказавшись не у дел, перебирались в город и записывались на биржу труда как потенциальные домработницы. Прекратить эту практику значило нанести еще один удар и без того и без того плачевному рынку занятости.

Возникла парадоксальная ситуация: тот, кто до 1917 года как-то обходился без домашней работницы, вдруг получил возможность ею обзавестись.

Вот характерный эпизод из жизни поэта Сергея Есенина, описанный библиографом Иваном Ивановичем Старцевым: «Однажды он проработал около трех часов кряду над правкой корректуры „Пугачева“ и, уходя в „Стойло“, забыл корректуру на полу перед печкой, сидя около которой он работал. Возвратившись домой, он стал искать корректуру. Был поднят на ноги весь дом. Корректуры не было. Сыпались отборные ругательства по адресу приятелей, бесцеремонно, по обыкновению, приходивших к Есенину и рывшихся в его папке. И что же – в конце концов выяснилось, что прислуге нечем было разжигать печку, она подняла валявшуюся на полу бумагу (корректуру „Пугачева“) и сожгла ее. Корректура была выправлена на следующий день вновь».

В этот период жизни Сергей Александрович скитался по писательским коммунам и по коммуналкам. Но без прислуги – пусть и приходящей – своей жизни не мыслил.

Этим труженицам чужого быта следовало где-то спать. Днем они находились как бы одновременно всюду и нигде определенно. То на кухне готовит, то ванную чистит, то в магазин за картошкой пошла. Но во время сна ей все же была необходима определенная локация.

В комнатах и без того было тесно, да и класть туда прислугу казалось неправильным – чужой все-таки человек. Бывшие помещения для домработниц функционировали в режиме полноценных жилых комнат. Оставался коридор.

Вот воспоминания Глеба Горбовского:

«Родился в городе. Причем в прекрасном городе. Измышленном дерзостью разума и воздвигнутом волею Великого Петра. Но детство прошло не в сиятельных апартаментах, а в многолюдной, густой коммуналке, в десятиметровой комнате на троих. И вот что запомнилось ярче прочего: в проходном квартирном пространстве общего пользования, будто на пешеходном мосту, соединяющем «черный ход» коммуналки с основным ходом, под портретом наркома Ежова, на гигантском окованном сундуке жила у нас в квартире «ничья бабушка» из сельских. В свое время кем-то выхваченная из деревни в няньки, да так и забытая в коридоре, – то ли младенец, которого надлежало ей нянчить, умер до срока, то ли родители младенца поссорились и развелись, – во всяком случае, бабушка жила в коридоре на сундуке, ела хлебную тюрю с луком, крестилась на свет электролампы, шептала молитвы и, за неимением собственного младенца, ласкала время от времени меня и всех остальных малолеток жилобщины. Ласкала, угощала тюрей и вместо сказок рассказывала нам иногда о своей деревне.

Ее рассказы были пересыпаны необыкновенными словами, такими, как «поветь», «поскотина», «пряслице», «загнеток», «лукно», «гумно», «сусек», казавшиеся мне словами если не сказочными, то иностранными. Эти лохматые, грубого помола «скобарские» выражения нравились мне, тогдашнему учительскому сынку, привыкшему к правильной, монотонной речи образованных родителей, так же, как нравились горожанину, очутившемуся в деревне,

крестьянский хлеб с парным молоком, разваристая картошка с малосольными огурцами, колодезная вода из ковша».

Впрочем, известны совсем уж экзотические истории. В частности, в одной из московских коммуналок, состоящей всего из двух комнат, домработница жильцов одной из этих комнат спала в ванной. И ничего, соседи были не в претензии. Действительно – должен же где-то спать советский человек, строитель коммунизма.

Ванная комната вообще воспринималась многими не как инфраструктурный элемент, а как жилая площадь, ничем не отличающаяся от другой такой же жилой площади – бывшей каминной, например, или же дворницкой. Мариенгоф писал в повести «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги»: «Мы обменялись со своим парнем жилплощадью: Кирка перебрался в отремонтированную бывшую ванную комнату, а мы в ту, где он проживал сначала в фибровом чемодане, а потом в кроватке с пестрыми шнурами».

Так продолжалось до 1929 года, после чего – не домработниц запретили, нет, конечно. Просто стали требовать согласия соседей на размещение прислуги в общественных местах. Соседи, разумеется, давать такие разрешения не спешили – кто-то хотел денег (очевидно же, что домработницу держат не самые бедные строители коммунизма), кто-то принципиально был против. В любом случае, в прихожих и других местах стало значительно просторнее.

Тем не менее, ванная комната и впредь нередко уступала свои первоначальные функции в пользу более насущных. Владимир Лакшин писал о литературном критике Марке Щеглове: «Я вспоминаю его… дома, в Электрическом переулке близ Белорусского вокзала, в этой маленькой, узкой, как щель, полутемной комнатке, служившей некогда ванной и заселенной в эпоху коммуналок и „уплотнений“, – он сидит, подвернув ноги, на сундуке, с книжкой в руках».

Марк Александрович, один из талантливейших отечественных литературоведов, с двух лет болел костным туберкулезом и скончался в возрасте тридцати лет. Живи он в нормальных условиях – видимо, протянул бы дольше, и отечественное литературоведение от этого здорово выиграло бы. Но, как не трудно догадаться, в послевоенные годы, к каковым относятся воспоминания Лакшина было не до литературоведения, не до литературных критиков и не до инвалидов. Рассовать бы кое-как людей по норам и углам.

* * *

Одним из основных участников коридорной жизни, постоянно отыгрываемый режиссерами и живописцами, был велосипед. Он либо стоял, либо висел на рогульках. Детские трехколесные велосипеды все время откуда-то свешивались, и рослые жители коммуналок регулярно задевали их своими нечесаными, а нередко и вшивыми головами.

Чтобы представить себе все разнообразие этих колесных жителей, расскажем коротко об эволюции советской двухколески.

Все началось в 1939 году, когда Пермский машиностроительный завод стал выпускать подростковую «Каму» – с невысокими колесами, рулем, напоминающим турьи рога и складной рамой, облегчающий хранение велосипеда в условиях советской коммуналки. Первое время раму действительно складывали и раскладывали, а потом механизм либо ржавел и переставал раскладываться, либо расшатывался, после чего приходилось выбрасывать весь велосипед.

Тем не менее, сама модель вышла живучей – ее сняли с производства только в 2006 году.

Сразу же после войны, в 1946 году, в рамках конверсии стал выпускать велосипеды Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова. Модель так и называлась – «ЗиЧ-1», что расшифровывалось как «Завод имени Чкалова – Первый». Второго, правда, не последовало, зато первый вышел хоть куда. Крепкая, мощная, практически неубиваемая машина с переключателем передач, звонком, кожаной сумкой, прицепленной не к верхней раме, а к заднему

багажнику – это смотрелось солидно. Кожух от попадания штанов между ведущей звездочкой и цепью. А главное – фара на крыле переднего колеса и генератор, питающий эту фару от энергии вращения того же переднего колеса.

На этой штуке можно было ездить ночью по разбитым послевоенным дорогам и ничего-ничего не бояться.

С 1947 года в цехах Минского мотовелозавода приступили к выпуску велосипеда «Аист» – тоже со складной рамой и высоким рулем. «Аист» также был снабжен откидывающимся костыликом для парковки при отсутствии внешних опор в стоячем состоянии. То есть после откидывания костылика велосипед приобретал третью точку опоры, и его не надо было ни прислонять к чему-либо, ни класть на пыльный асфальт. Вещь довольно удобная.

Это единственная советская модель велосипеда, которая выпускается по сей день.

Еще один подростковый велосипед, рассчитанный на седоков десяти-одиннадцати лет. Он так и назывался: «Школьник» – встал на конвейер Горьковского велосипедного завода в 1956 году и выпускался ровно три десятилетия. Честно говоря, о нем даже писать не хочется – такое ощущение, что эту синию или зеленую конструкцию без каких-либо отличительных черт и так представляет себе каждый читатель, более-менее интересующийся прошлым (а другой читатель эту мою книгу просто в руки не возьмет). Он разве что выделялся защитным кожухом, размещенным над цепью и призванным защищать штаны всадника от попадания и зажевывания этой хорошо промасленной деталью. Но это в теории. А на практике цепь все равно почему-то зажевывала край штанов, и его приходилось, как и на других велосипедах, фиксировать деревянной (а других в то время и не выпускали) бельевой прищепкой.

В 1964 году на Харьковском велосипедном заводе начали выпускать гоночный «Спутник» – лаконичный, как советский сервант приблизительно той же эпохи, но зато с системой передач двумя тормозами и круто загнутыми вниз рогами руля. Как начали, так и закончили – в 1968 году «Спутник» вдруг сняли с производства. Ну а там и коммунальная эпоха медленно пошла на спад.

В середине прошлого столетия все велосипеды должны были иметь свой регистрационный номер, состоящий из названия города, собственно номера и года его выдачи. В сельской местности этим, естественно, пренебрегали – там и у машин-то не у всех имелись номера. В городах и правда приходилось регистрировать и вешать. Это касалось даже детских трехколесных велосипедиков, на которых малыши гоняли под двору.

Были редкостью, но-все таки существовали велосипеды с моторчиком – так называемые самоходные велосипеды. Моторы, впрочем, ставили и сами пользователи – тогда велосипед превращался в мопед или приобретал более скромное, вполне расхожее название – «велосипед с моторчиком».

В некоторых случаях велосипеды выдавались на работе в качестве служебного транспорта – например, почтальонам. Иногда к велосипедам прицепляли нечто наподобие прилавка – такой велосипед участвовал в процессе уличной торговли.

Однако же у большинства жителей коммуналок при слове велосипед всплывал в памяти огромный, неудобный и рогатый монстр, стоящий или же висящий в коридоре и щедро раздающий синяки квартирным обитателям, особенно, когда они слегка «подвыпивши».

Власти старались поощрять велосипедный спорт. В частности, в 1930 году, «в целях облегчения трудящимся возможности приобретать велосипеды и увеличения средств для строительства и расширения велосипедных заводов» были выпущены так называемые «велосипедные обязательства», дающие возможность накопить деньги на двухколеску. По сути это был целевой вклад, а не возможность приобретать велосипеды в кредит. Таким образом, коммунальные коридоры обзаводились все новыми и новыми двухколесными жителями.

* * *

Непременное условие существования коммунального коридора – его заброшенность, неряшливость, нечистота. Что вполне объяснимо – он не был чьей-то территорией, жилой комнатой, не был санузлом, чистка которого строжайшим образом регламентировалась, и не был кухней, в которой волей-неволей поддерживался некий порядок просто в силу крайней востребованности этого пространства.

Коридор был ничейный и, можно сказать, лишний. По нему ходили. Для хождения требовалась узенькая полосочка по центру. Все остальное захламлялось и не чистилось. И потому что некому, и потому что стереть пыль с такой большой мусорной кучи было невозможно в принципе, так же, как и вымыть под ней пол. Уже упомянутые велосипеды, сломанные лыжи, перегоревшие фонари, испорченные патефоны, покривившиеся деревянные счеты, затупившиеся коньки для фигурного катания, разболтанные стулья, сломанные детские игрушки, металлические ванны для купания младенцев, садовые лейки, выцветшие картонные коробки, корзины для сбора грибов, тазы, ветошь и всяческая арматура.

Коридоры бывших дореволюционных доходных домов подчас были очень широкими – в таких приживались отслужившие свое конторки, станины от швейных машин и даже продавленные диваны. А в диванах водились клопы.

Зато светильников и абажуров в коридорах не наблюдалось – разве что испорченные, в общей куче коммунального хлама. Причина все та же – было совершенно не понятно, кто купит и прикрутит этот абажур. Даже лампочка перегоревшая менялась с большим скрипом – случалось, коммунальный коридор на целые месяцы погружался во мглу.

И, разумеется, всякий уважающий себя коммунальный коридор был украшен электрическими счетчиками. Их могло висеть и десять, и больше – по числу квартиросъемщиков. Счетчики были хотя и похожи друг на друга, но все-таки разными – кто уж какой купил. Где купил. Или когда купил. Здесь соседствовали представители самых разных поколений счетчиков.

Они тихо шуршали и громко вздыхали, тикали и стрекотали, в них что-то крутилось и плакало. Все это было привычным. На счетчики не обращали внимания – разве что снимая показания расхода электричества.

* * *

Кстати, в провинции было не лучше. Вот воспоминания бывшего жителя казанской коммуналки:

«Я очень хорошо помню такую коммуналку. Она была на первом этаже нашего Z-образного дома по улице Восстания в Ленинском тогда еще районе. Дом был, кажется, на балансе Вертолетного завода, и жили в доме преимущественно рабочие и служащие этого крупнейшего в городе предприятия.

В коммуналке этой жило четыре семьи. Наша семья жила рядом: в однокомнатной сталинке. Квартира у нас была большая, с огромной прихожей, в которой стоял отцов мотоцикл «Иж». Жило нас в квартире четверо: родители, мать отца и я. А в коммуналке, куда я заходил как к себе домой, поскольку дверь запиралась только на ночь, был длинный коридор, упирающийся в две двери: в туалет и в ванную.

По левую сторону коридора было три двери. За одной жил мой одногодок и однокашник Вовка Герасимов, за другой – Вовка Черников. Тоже мой приятель, на год старше меня. Третья дверь в самом конце коридора вела на огромную общую кухню.

По правой стороне коридора было две двери. За одной проживала одинокая дама, еще не старая, красивая до невероятия и ходившая в шелках. Была она, кажется, из «бывших». Или, скорее, из детей тех, кто не успел свалить после революции в Париж.

Вторая дверь, в конце коридора, вела в квартиру Вовки Полякова, тоже старше меня на год или два. Вроде бы у него была сестра, но девчонки меня в то время не интересовали.

Таким образом, в коммуналке проживали сразу три Вовки. Я и они – вот вам и дворовая хоккейная команда».

Дети в коммунальных коридорах чувствовали себя вольготно: «К этим трем Вовкам я приходил, как к себе домой. Я был свой. И тотчас подключался к их коридорным играм. Шумели мы нещадно. А когда попадали мячом в детскую ванну, и она еще сваливалась со стены на пол, раздавался такой грохот, словно кто-то над головой колотил ломом по листу оцинкованного железа. Не знаю, как остальные, а мы балдели от таких звуков и хохотали до упаду.

Конечно, коридорные баталии были лишь в непогодь. А так мы целыми днями пропадали во дворе, изредка забегая домой, чтобы перехватить кусок хлеба, намазанный вареньем или посыпанный сахарным песком, и тотчас умчаться обратно. Нам всегда было некогда. И я не помню, чтобы эти трое Вовок когда-либо ругались между собой, чего-то не поделив».

* * *

А вот воспоминания об одесском коммунальном коридоре 1970-х: «В одной из комнат обитали мать с дочерью на выданье, в другой – украинская семейная пара среднего возраста. Жена, Валя, была маленько туга на ухо:

– Сэргожа! Сэргожа! – каждый раз, зовя мужа на обед, орала она на всю квартиру.

– Та шо, Сэргожа, Сэргожа! Чую я! – бурчал он, продвигаясь по темному коридору по направлению к их комнате.

Сэргожа любил поддать и, когда кто-то из наших вскользь упоминал, что «сегодня Сережа сильно выпивший», я старалась в коридор одна не выходить – как все дети очень боялась пьяных: мне казалось, они очень опасны.

Мой папа несколько раз вставлял лампочку, чтобы злополучный коридор хоть как-то освещался (через него пролегал путь к нашей кухоньке):

– Валендра (Валя) несется с кастрюлей горячего борща, она ребенка может инвалидом сделать! – говорил он маме, имея в виду, что кастрюля имеет шанс вылиться на меня.

– Ходи подальше от дверей, – предупреждал он меня.

Но лампочки хватало на день… И опять я осторожно «кралась» по коридору, держась за шкафы с одной стороны, чтобы не оступиться, высчитывая несколько ступенек, ведущих к кухне, и стараясь держаться подальше от внезапно распахивающихся дверей соседей».

Было в том коридоре и некое замысловатое ответвление, в котором, увы, тоже нельзя было почувствовать себя в полнейшей безопасности: «В маленьком коридорчике, куда выходили двери из нашей комнаты и из жилища нашего конкурента, стоял папин письменный стол, за которым он по ночам делал уроки, обучаясь на вечернем факультете института, и Витькин огромный картонный ящик (попрошу заметить, он сыграет свою дальнейшую роль в истории нашей семьи). Двери наших комнат так неудачно открывались по отношению друг к другу, что была велика вероятность получить в лоб Витькиной дверью. Учитывая, что все семейство не отличалось спокойствием, двери распахивались ожесточенно.

– Витя, ты бы хоть зарубку поставил, – попросила мама, однажды выходя из комнаты, неся на руках грудного брата и чудом успевшую отскочить, чтобы не быть ударенной вышеупомянутой дверью, – ты же мне ребенка покалечишь.

– Я тебе зарубку на голове поставлю, – не полез за словом в карман бывший уголовник».

А вот и интрига – картонный ящик Витьки-уголовника: «Все бы, может, ничего, но близился выезд одной из семей и Витек становился все более свирепым. Уж очень ему хотелось завладеть еще одной комнатой.

В один прекрасный летний день, явившись домой после прогулки, мы с мамой увидели Полину Николаевну, торопящуюся к нам:

– Вашу бабушку в больницу отвезли! Ее Витька избил!

Не буду описывать, что мы испытали, когда забрали бабушку с синяками и кровоподтеками на лице, с выбитым зубом: она возвращалась с пустым бидончиком из магазина – он ее этим бидончиком в темном коридоре и поколотил. Был товарищеский суд. Все вернулось на круги своя.

И когда бабушка, совершенно случайно познакомившись возле Оперного театра с женщиной из маленького зеленого городка на Западе Украины, о котором мы и слыхом не слыхивали, узнала, что дама ищет обмен в Одессе, она заинтересовалась. Скажу только, что после продолжительных раздумий (как же можно оставить красавицу Одессу?), наша семья поменяла то, о чем сказано выше на отдельную трехкомнатную квартиру с ванной и туалетом. А также горячей водой.

Вы спросите: а при чем тут картонная коробка? А при том, оказывается, что Витька (как он мотивировал) побил бабушку за обнаруженные за коробкой куски засохшей еды, якобы бросаемой нами ради подлости. Я, тот еще едок, когда меня кормили «ложку за маму, ложку за папу», набирала полный рот еды и выплевывала все это за Витькину коробку. Желая побыстрее избавиться от ненавистных макарон с мясом и менее всего ожидая совершить подлость».

Увы, новые коммуналки, расставаясь со старой жестокостью, приобретали другую, невозможную раньше, но прекрасно проявлявшую себя в эпоху «развитого социализма».

Вплотную к коридору примыкала антресоль – еще одна довольно экзотическая часть советской коммуналки. Один из современников писал: «Антресоль представляла собой невысокое полутемное помещение, расположенное над туалетом, бывшей ванной комнатой (кладовкой одной из квартир) и частью коридора. Попадали туда из кухни по узкой деревянной лесенке с перилами. Окно антресоли выходило на черный ход, туда же выходило и окошко туалета. Помню, когда в кухне была большая плита для готовки, отапливаемая дровами или древесным углем, но ее давно не топили, а использовали как стол для примусов. Потом ее снесли, и в кухне стало просторней».

Впрочем, антресоль встречалась не всегда.

Что и как?
Мебель и интерьер

В романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» фигурировал московский музей мебели. Любая коммунальная квартира была способна дать большую фору этому музею. Если не по количеству экспонатов, то уж точно по их непредсказуемости.

Вот описание комнаты поэтессы Марины Цветаевой, оставленное ее современницей Ниной Гордон: «Помню, как я пришла в начале зимы 41-го года к Марине вечером домой на Покровский бульвар. Большой домина, двор-колодец. Жила она то ли на шестом, то ли на седьмом этаже. Небольшая двух- или трехкомнатная квартира у Марины Ивановны вместе с Муром комнатка метров двенадцать-тринадцать. Я эту комнату помню отлично: одно окно, вдоль окна вплотную простой продолговатый деревянный стол. Рядом с ним впритык кровать Марины, вернее, не кровать, а топчан с матрацем, или же два составленные рядом кофра, на них – матрац, а сверху плед. Во всяком случае, жесткое и неуютное ложе. Я сидела на нем и чувствовала, как жестко. Комната неприбранная, масса наброшенных вещей: через всю комнату и над столом – веревки с висящим на них тряпками из мохнатых полотенец и просто полотенца. На столе в беспорядке еда и посуда – чистая и грязная, книги, карандаши, бумага – как бывает на столах, за которыми и едят и работают. Под потолком – тусклая, желтоватая, неуютная лампочка без абажура. С другой стороны стола кровать Мура. Один или два стула, чемоданы. Что-то шкафа я не припомню, может быть, был в стене, но помню хорошо, что на стене, около топчана Марины – под простыней – платья и пальто; также и на другой стене около кровати Мура».

Справедливости ради заметим, что Марина Ивановна никогда особенно не отличалась повышенной способностью создавать уют. Но здесь она была не одинока. Далеко не у всех жителей коммуналок хватало средств на собственную мебель, а продуманные интерьеры были и вовсе фантастикой. Первая жена писателя Булгакова Татьяна Николаевна,, урожденная Лаппа, описывала процесс приобретения обстановки для знаменитой комнатушки на Большой Садовой:

«В комнате этой была уже мебель – два шкафчика, письменный стол ореховый, диван, большое зеркало, походная кровать складная, два шкафчика, кресло дырявое… Была даже кое-какая посуда – супник белый. А ели мы сначала на белом кухонном шкафчике. Потом однажды я шла по Москве и слышу: «Тасенька, здравствуй!» Это была жена саратовского казначея. Она позвала меня к себе: «Пойдем – у меня же твоя родительская мебель». Оказывается, она вывезла из Саратова мебель, в том числе стол родителей. Стол был ореховый, овальный, на гнутых ножках. Мы пошли с Михаилом, ему стол очень понравился, и мы его взяли и взяли еще наше собрание сочинений Данилевского в хороших переплетах… Стол был бабушки со стороны отца, а ей достался от кого-то из предков… Потом мы купили длинную книжную полку – боковинами ее были два сфинкса – и повесили ее над письменным столом.

Как-то один еврей привез какому-то из пигитских рабочих мебель. А того то ли дома не было, то ли он не взял – постучал в нашу дверь: «Не нужна мебель?» Меня тогда не было, уезжала, наверно, к сестре. Булгаков посмотрел, мебель ему понравилась. И дешево продавали, а он как раз получил тогда за что-то деньги. Это была будуарная мебель во французском стиле – шелковая светло-зеленая обивка в мелкий красный цветочек. Диванчик, кресло, два мягких стула, туалетный столик с бахромой… Два мягких пуфа. Для нашей комнаты эта мебель совсем не подходила – она была слишком миниатюрной для довольно большой комнаты (25 квадратных метров или больше). Но Михаил все хотел, чтоб в комнате было уютно».

А случалась и другая крайность – когда будущее коммунальное семейство въезжало в уже меблированное помещение. Чаще всего так выходило, если старые хозяева бежали за границу буквально с одним чемоданчиком. Писательница Лидия Либединская делилась своими детскими воспоминаниями: «Высокие (почти пять метров) потолки, темно-красные обои, наборный паркет и два узких длинных окна, выходивших в тихий Дегтярный переулок. Больше всего меня поразил камин, в котором отец, ожидая нас, уже развел огонь. Поленья, сложенные домиком, весело потрескивали, распространяя тепло и живой прыгающий свет, – тени бежали по стенам и немногочисленной и совсем незнакомой мне мебели. Впрочем, ни большой книжный шкаф, ни обеденный стол, ни широкая тахта не привлекли моего внимания. Меня заворожил камин. Сложенный из темно-розового кафеля, он был украшен тончайшей лепниной – позже мне рассказали, что на нем изображена сцена из „Фауста“. Веселая пирушка; и Фауст в шляпе с пером и ниспадающем складками плаще, с пенящимся бокалом в руке, был сказочно красив. Стол, уставленный бутылками, фруктами и другими яствами, – все это было из какой-то другой, неведомой жизни. А под лепной картиной надпись готической вязью: „Кто провел свою жизнь без вина, карт и женщин, тот провел свою жизнь дураком!“ Под этим легкомысленным „лозунгом“ протекали мои детство и отрочество».

Впрочем, и в этом семействе не отказывались от возможности приобрести что-нибудь этакое и задешево: «А вот и церковь Старого Пимена молчаливо высится из-за белой каменной стены. Впрочем, это бывшая церковь, теперь там каждую субботу продают с аукциона не выкупленные в срок вещи. Продают задешево, и потому в нашей единственной комнате вдруг неожиданно появляется роскошный бархатный стул или медная настольная лампа, дворцовый инкрустированный столик, пара серебряных ложек. Вещи, пришедшие из какой-то неведомой, чужой жизни, они не являются предметами первой необходимости, но бабушка утверждает, что нельзя было „упустить случай“ и не приобрести их. К вещам у нас в семье полное равнодушие. Три дня вещь с гордостью показывают друзьям и соседям, выясняют ее происхождение, а потом начисто забывают о ней. На инкрустированный столик водружалась керосинка „Грец“, на бархатном стуле целыми днями безмятежно спал кот-кастрат Планчик, серебряные ложки темнели и мирно доживали свой век среди нержавеющих собратьев».

* * *

Часто было вообще непонятно – чья мебель. Кому именно она принадлежала. Людям? Дому? Или же домовому начальству?

Мариенгоф писал в повести «Циники»:

«Я и мои книги, вооруженные наркомпросовской охранной грамотой, переехали к Ольге.

Что касается мебели, то она не переехала. Домовой комитет, облегчая мне психологическую борьбу с «буржуазными предрассудками», запретил забрать с собой кровать, письменный стол и стулья.

С председателем домового комитета у меня был серьезный разговор.

Я сказал:

– Хорошо, не буду оспаривать: письменный стол – это предмет роскоши. В конце концов, «Критику чистого разума» можно написать и на подоконнике. Но кровать! Должен же я на чем-нибудь спать?

– Куда вы переезжаете?

– К жене.

– У нее есть кровать?

– Есть.

– Вот и спите с ней на одной кровати.

– Простите, товарищ, но у меня длинные ноги, я храплю, после чая потею. И вообще я предпочел бы спать на разных.

– Вы как женились – по любви или в комиссариате расписались?

– В комиссариате расписались.

– В таком случае, гражданин, по законам революции – значит, обязаны спать на одной».

* * *

Занятная история была описана Виктором Шкловским в 1933 году:

«Мой друг инженер так моложав, что не выглядит даже бритым.

В комнате, где он живет, кроме него и жены, находится еще четверть кариатиды, которая когда-то поддерживала потолок зала.

Жена у него очеркистка, хорошая журналистка. Оба они могут засвидетельствовать истину рассказа. У жены за границей много лет жила мама. Эти мамы, живущие за границей, как-то романтичны.

Мама в Лондоне жила еще до революции и там осталась. Вышла замуж, овдовела.

Сперва посылала посылки, потом письма только.

Потом она стала жаловаться.

Дочка посоветовалась с мужем и написала:

«Мама, приезжайте».

Лондон недалеко: мама скоро приехала.

Она узнала кариатиду, потому что жили в ее квартире.

Но не плакала и говорила:

– Вот и хорошо. Я всегда говорила покойному мужу, что у нас слишком большая квартира, только покажите, где моя комната?

Она привезла подарки: войлочный маленький валик на пружинке под носик кофейника, чтобы кофе не капал на скатерть, прибор, состоящий из рамки с туго натянутыми струнками, служащий для разрезания вареных яиц, лавандовую соль для ванны и еще какую-то мелочь».

* * *

Даже если кто-то и пытался выстроить в своем пространстве нечто, похожее на стиль, то выходило это, в лучшем случае, курьезно. В этом отношении довольно показательной была комната поэта Константина Липскерова. Он, побывав в Средней Азии, вывез оттуда множество предметов средневосточной древности, разложил их по полочкам, и к нему зачастили приятели – будто в какую кунсткамеру. Но уюта все эти кувшины и пиалы, разумеется, не привнесли.

Кстати, в этой невозможности – принципиальной невозможности – создать какой-либо уют была даже своя какая-то романтика. Вечное сидение на чемоданах окрыляло, не давало окончательно обмещаниться. И, разумеется, позволяло экономить довольно приличные деньги.

Разве в отдельной квартире, обставленной любовно и с душой, по собственному неповторимому вкусу, станешь вместо разбитого стекла лепить картонку? Разумеется, не станешь, сразу побежишь к стекольщику. А здесь – легко. И эти многочисленные временные картонки становились постоянными атрибутами советского коммунального быта.

* * *

А вот меблировка московской семьи Каплунов: «В нашей комнате была голландская печь. Другими сторонами она выходила к Мишке и на кухню. Комнату разделял надвое платяной шкаф. Между ним и дверью, напротив печки стояла железная полуторная панцирная кровать с никелированными набалдашниками пирамидками и полированными деревянными панелями на спинках. К ним были прикреплены витиеватые, в стиле модерн никелированные штамповки. Кровать эта в свое время перекочевала на дачу, а теперь, после нескольких разграблений (в последний раз унесли входную дверь) я отвинтил замечательные панели и сейчас любуюсь ими в своем кабинете.

Ближе к окну стоял диван с полочкой, там жило семь фарфоровых слоников. Самый большой был вылеплен с большим количеством деталей, остальные – мал мала меньше – без подробностей. Наши слоники были много красивее тех, которые я видел в других домах. Очень жалко, что они куда-то пропали – замечательные были слоники. Там же стояла репродукция картины под стеклом «Иосиф Виссарионович Сталин на позициях под Москвой». Однажды я от избытка то ли чувств, то ли энергии бился спиной о спинку дивана. Это привело к падению Сталина с позициями углом мне на голову, рядом с макушкой. Крови было мало, но осталась вмятина на всю оставшуюся жизнь.

С другой стороны платяного шкафа находился очень красивый буфет, который, как оказалось, был изначально книжным шкафом у маминой мамы, часть ее приданого. Светлого дерева, в переплете верхних створок вставлены стекла, заклеенные с обратной стороны бумагой с ромбическим рисунком в желто-коричнево-черных тонах. Шкаф переехал на дачу, а теперь стоит в комнате у моей дочки и выполняет свою исконную функцию – хранит книги.

Рядом стояло «приданное» отца, из общежития – секция шкафа темного дерева (вишни?) с отличным зеркалом. Оно было еще и льстивым – уже школьником я обнаружил, почему я в нем кажусь более красивым, чем в других зеркалах. Оно изображало меня загорелым.

Вплотную к окну стоял письменный стол с двумя ящиками под столешницей. Под столом жил Ленин в виде барельефа на чугунной треугольной призме, весом в два утюга. Это тоже подарок сослуживцев отца. Он выполнял функцию просто тяжелой вещи. Не понимаю, почему я не спал на диване – мне стелили раскладушку, которая окончательно занимала все свободное место. Из-за недостатка места и купали меня на кухне в цинковой ванночке. Это было стыдно».

* * *

Голландская печь, раскладушка, никчемный бюст Ленина, слоники, нелепый диван, просто так занимающий место. Какой-то театр абсурда.

Вещи, похоже, жили своей жизнью, совершенно не зависящей от воли одушевленных обитателей квартир. Нельзя даже сказать, чтобы вещи постоянно меняли хозяев – после революции хозяев фактически не стало. Они действительно существовали обособленно – как существует вне зависимости от желания или же нежелания квартирантов подвальная популяция крыс. Иногда жители коммуналок помнили, кто был первоначальным владельцем комода, этажерки или же окованного медью сундука. Но со временем все это стало забываться. Вещи переезжали из квартиры в квартиру, из комнаты в комнату. Но чаще все-таки переезжали жильцы. Их уплотняли, ими уплотнялись, они получали ордера или, наоборот, лишались права на жилплощадь, и тогда в освободившуюся комнату, к освободившимся вещам въезжали новые – условные – хозяева.

Так было, например, когда жилец отсутствовал более чем полтора месяца. Подобная история прекрасным образом описана Ильфом и Петровым в романе «Золотой теленок»:

«Летчик Севрюгов, к несчастию своему проживавший в квартире номер три, вылетел по срочной командировке Осоавиахима за Полярный круг. Весь мир, волнуясь, следил за полетом Севрюгова. Пропала без вести иностранная экспедиция, шедшая к полюсу, и Севрюгов

должен был ее отыскать. Мир жил надеждой на успешные действия летчика. Переговаривались радиостанции всех материков, метеорологи предостерегали отважного Севрюгова от магнитных бурь, коротковолновики наполняли эфир свистом, и польская газета «Курьер Поранны», близкая к министерству иностранных дел, уже требовала расширения Польши до границы 1772 года. Целый месяц Севрюгов летал над ледяной пустыней, и грохот его моторов был слышен во всем мире.

Наконец, Севрюгов совершил то, что совсем сбило с толку газету, близкую к польскому министерству иностранных дел. Он нашел затерянную среди торосов экспедицию, успел сообщить точное ее местонахождение, но после этого вдруг исчез сам…

– Пропал наш квартирант, – радостно говорил отставной дворник Никита Пряхин, суша над примусом валеный сапог. – Пропал, миленький. А не летай, не летай! Человек ходить должен, а не летать. Ходить должен, ходить.

И он переворачивал валенок над стонущим огнем.

– Долетался, желтоглазый, – бормотала бабушка, имени-фамилии которой никто не знал. Жила она на антресолях, над кухней, и хотя вся квартира освещалась электричеством, бабушка жгла у себя наверху керосиновую лампу с рефлектором. Электричеству она не доверяла. – Вот и комната освободилась, площадь!

Бабушка первой произнесла слово, которое давно уже тяжелило сердца обитателей «Вороньей слободки». О комнате пропавшего летчика заговорили все: и бывший горский князь, а ныне трудящийся Востока гражданин Гигиенишвили, и Дуня, арендовавшая койку в комнате тети Паши, и сама тетя Паша – торговка и горькая пьяница, и Александр Дмитриевич Суховейко – в прошлом камергер двора его императорского величества, которого в квартире звали просто Митричем, и прочая квартирная сошка, во главе с ответственной съемщицей Люцией Францевной Пферд.

– Что ж, – сказал Митрич, поправляя золотые очки, когда кухня наполнилась жильцами, – раз товарищ исчез, надо делить. Я, например, давно имею право на дополнительную площадь.

– Почему ж мужчине площадь? – возразила коечница Дуня. – Надо женщине. У меня, может, другого такого случая в жизни не будет, чтоб мужчина вдруг пропал».

Гипербола? Да, разумеется. Но, не такая уж и сильная. Фотограф Геннадий Михеев, проживший долгие годы в коммунальной квартире, писал: «В фильме „Покровские ворота“ коммуналка несколько романтизирована. Хотя – и это истинная правда – дух коммунального мира передан блестяще. Бурлеск. Суета, броуновское движение, и все люди, люди, люди… Но все-таки „воронья слободка“, воспетая Ильфом и Петровым, ближе к образу настоящей коммунальной квартиры. Кто жил в коммуналке или до сих пор живет, согласится, что… короче, в отдельной квартире все же несколько лучше. Это я мягко говорю, чтобы никого не обидеть».

Кстати, дом, в котором обитали главные герои культового фильма «Покровские ворота», расположен хотя и на Бульварном кольце, но в его противоположной части – на Гоголевском бульваре. Официальный же адрес – Нащокинский переулок, 10. Этот дом – ровесник Бульварного кольца, он тоже был построен после войны 1812 года, когда Москва отстраивалась после своего знаменитого пожара. В 1884 году дом был перестроен под руководством архитектора В. Н. Загорского, впоследствии прославившим себя строительством здания Московской консерватории.

Из реальных знаменитостей здесь проживали поэт Алексей Плещеев и несколько менее известный врач Максим Кончаловский. Тем не менее, никаких особенно интересных событий, происходивших в этом доме, история не знает.

* * *

Положение заключенных было в два раза выгоднее, чем командировочных. На их метры заселялись новые жильцы только после трех месяцев пребывания в местах не столь отдаленных.

Разумеется, если была возможность, москвичи перед отъездом старались рассовать наиболее ценные вещи (не всегда изначально свои) по родным и приятелям – тем, у кого было свободное пространство. В этом плане сильно выручали дачи – особой ценности для новой власти они не представляли – просто в силу своей незначительной материальной ценности – а впихнуть туда можно было достаточно много всего интересного.

Кстати, дачник имел право выехать на свою дачу 15 апреля, а вернуться 30 сентября – именно это время, по мнению новых властей, длился дачный сезон. То есть покинуть свою коммунальную комнату на пять с половиной месяцев – даже на больший срок, чем заключенный. Правда, в строго фиксированный временной период.

А если повнимательнее посмотреть на эти цифры, станет очевидно и значение, которое в то время предавалось даче. Это не столько место для летнего отдыха, сколько сельскохозяйственное угодье. В середине календарной весны, как только отмерзала почва, следовало приступать к подготовительным земледельческим работам. И к концу сентября весь урожай должен быть собран, пора возвращаться домой.

* * *

Вернемся, впрочем, к обстановке коммуналок. Основой раннего коммунального интерьера чаще всего являлись не камины, не кувшины, не диваны, а печка-буржуйка. Ирина Соя-Серко вспоминала: «Квартиры, ранее принадлежавшие владельцам, стали коммунальными – в каждой комнате по семье. Центральное отопление почти нигде не было восстановлено, а потому через комнаты тянулись трубы „буржуек“ (небольшие печурки на ножках, которые устанавливали на железном листе). Под трубами на проволочных дужках висели разнокалиберные банки, в которые стекала тягучая темно-коричневая жидкость. Печки немилосердно дымили, но они были пульсом жизни. На них готовили пищу, ими согревались, над ними сушили белье, так как во дворе его могли украсть, на них кипятили воду, так что от пара отклеивались и висели лохмотьями старые обои. У входной двери висели таблички, извещавшие, что Иксу звонить три длинных и два коротких, а Игреку – два длинных и один короткий».

Это был небольшой металлический монстр, созданный еще до революции, но получивший повсеместное распространение именно после 1917 года, когда естественные городские инфраструктуры рухнули в одночасье. Тогда же появилось и название, несущее в себе сразу три смысла – толстобокие формы изделия, его невероятная прожорливость в смысле горючего и пафос победы над старым социальным укладом – дескать, раньше мы служили буржуям и буржуйкам, а теперь «буржуйка» служит нам.

Надо ли говорить, что это колоритное название существовало лишь на территории СССР. В Америке такие печи называли просто «толстобрюшками», в Японии «дарумами» (за схожестьформы с национальной куклой-неваляшкой дарумой), в других странах тоже существовали свои обозначения, весьма далекие от социальных ассоциаций.

Притом главным удобством этой печки была ее мобильность – буржуйка фактически не требовала подведения никаких коммуникаций, ее в любой момент можно было схватить и куда-нибудь с ней убежать. Для страны, по сути, сидящей на чемоданах, свойство более чем ценное.

А про главный недостаток уже было сказано – буржуйка очень быстро нагревалась (что немаловажно), но потом так же быстро остывала. Следом за ней остывала и комната. Приходилось постоянно швырять в печку топливо, а это, как не трудно догадаться, выходило в копеечку.

Кроме того, если неграмотно использовать печь (а откуда подобная грамотность у бывших пользователей водяного и парового отопления?), то она постоянно коптила. Владислав Ходасевич писал об одном из знакомых: «Центральное отопление не действовало, и Волынский топил буржуйку, немилосердно коптившую на весь мифологический мир. В отсутствие хозяина комната простывала. Я застал Волынского лежащим на постели в шубе, меховой шапке и огромных калошах».

Буржуйка действительно немилосердно коптила. Вот воспоминания одной из девушек: «Буржуйка до чего коптит, косынка совсем черная, черная морда копченая, синие круги под глазами, шуба, брюки придают такой жуткий вид, что страшно подумать или посмотреть в зеркало на образ свой».

«Ржавая нелепица, тыча железным хоботом обо что ни попало, занимает последний свободный косоугольник на полу», – так отзывался о печке-буржуйке Сигизмунд Кржижановский в рассказе «Книжная закладка».

Не удивительно, что эта печка, несмотря на всю свою спасительную миссию, чаще вызывала негативные ассоциации. «Пусто было в гостиной. Не было ни филодендронов, ни фикусов, не было амариллисов и не было часов между окнами. Часы давно обменяли на муку и на старом облезлом постамент их стояла безобразная закопченная печка „буржуйка“», – писал Петр Николаевич Краснов в романе «Ненависть».

А вот Владимир Германович Тан-Богораз, роман «Воскресшее племя»:

«Пол был завален соломой и всяческим сором. У черной стены стояла буржуйка, железная печка с трубою, выведенной в брюхо кирпичного борова. В соломе, налево и направо, были проделаны гнезда или норы. В таких норах могли бы гнездиться хорьки или крысы, но эти норы были раз в десять крупнее и шире крысиных проходов.

В буржуйке топился огонь; чайник, закопченный донельзя, сделанный как будто из сажи, грелся на буржуйке. Сквозь неплотно прикрытые дверцы железной буржуйки выскакивали одна за другою проворные искры. Казалось каким-то необъяснимым чудом, отчего в этой груде прелой соломы и гнилого тряпья не загорается пожар».

А при обысках чекисты обязательно ворошили в бужуйке кочергой – вдруг хозяева сжигали накануне какие-нибудь документы и книги?

* * *

У некоторых избранных счастливчиков в квартире была дровяная печь. Самая настоящая, с вьюшкой-заслонкой, дымоходом, трубой. Журналист Лев Штерн писал:

«В квартире было печное отопление. Две комнаты, которые занимала наша семья (шесть душ), отапливались одной голландской печью. В одной комнате находилась топка, а в другую выходило высокое главное зеркало печи, облицованное белым кафелем и украшенное скульптурной «головкой» изображающей танцующих амуров. Дверцы топки и поддувала были чугунные литые с изображением двуглавого орла и надписью «БЕРНДТЪ» – очевидно название фирмы-изготовителя. Печь эта была очень «прожорливая»: только забросив два ведра угля (около 30 килограммов) можно было разогреть ее так, чтобы в комнатах два-три дня поддерживалась сносная температура (19—20 градусов). Уголь хранился в подвале, где у каждого был маленький сарайчик.

У нашей печи были почти такие же дверцы топки.

Растопка печи была длительной и нелегкой процедурой (я думаю, что в былые времена этим занимался истопник). Сначала надо было очистить топку от шлака, который остался от предыдущего раза и вынести его во двор, а на обратном пути принести из подвала топливо – немного дров и ведро угля (второе ведро можно было поднять позже, когда печь разгорится). В топку закладывали уголь, поверх дрова и с самого верха тонкие щепочки и бумагу. Топливо

поджигалось и при хорошей тяге (зависела от погоды) часа через два-три в комнатах начинало теплеть. При плохой тяге процесс растягивался, а иногда комната наполнялась дымом. После того как весь уголь прогорит, а печь раскалится, дымоход перекрывали задвижкой, дверцы топки и поддувала плотно закрывали при помощи специального винта, чтобы тепло, как говорили, не выдуло. В то же время нельзя было закрыть печь слишком рано так как была опасность отравиться угарным газом…

Сразу после войны печь не работала (ее починили году в 1953 или 1954-м) и я помню «буржуйку» в одной (угловой) комнате и кирпичную плиту в другой. «Буржуйка» – маленькая железная печка – стояла под кафельным зеркалом «голландки», из которого была вынута одна «кафелина» и вставлена жестяная труба «буржуйки»».

* * *

А еще был великолепный автоматический газо-водяной котел АГВ. Тот же Лев Штерн вспоминал:

«С появлением газа, сначала одни соседи, затем другие установили АГВ. В отличие от газовой плиты, АГВ жильцы приобретали за свой счет. Кроме покупки самого водогрейного котла было необходимо достать, заплатив втридорога – в магазинах не было – трубы и радиаторы и нанять бригаду, которая все это смонтирует. Все вместе выливалось в круглую сумму, однако улучшение бытовых условий в результате было столь значительно, что люди старались из последнего. У нас в квартире соседи скооперировались и установили два АГВ, которые отапливали комнаты всех жильцов. Оба котла стояли в кухне.

Котел АГВ… был цилиндрической формы один-два метра высотой, 40—50 сантиметров в диаметре, в зависимости от мощности. В нижней части находились большая главная и малая запальная горелки, а верхняя часть была заполнена водой. Внутри, вдоль вертикальной оси, проходила вытяжная труба, которая подсоединялась к дымоходу. Сбоку, в верхней части, был штуцер для выхода горячей воды, а в нижней – для возврата холодной, отработанной. К штуцерам присоединялись трубы разводки воды по комнатам, где были установлены радиаторы. Вся система была замкнутой и заполнялась водой из водопровода (врезка с вентилем в «холодную» трубу). Сверху, к «горячей» трубе присоединяли расширительный бачок с переливной трубкой спускавшейся к полу. Периодически систему пополняли водой, держа вентиль открытым до тех пор, пока из переливной трубки не начинала течь вода. Терморегулятор автоматически поддерживал требуемую температуру (устанавливалась ручным движком в пределах 50—90 градусов) и в любом случае не давал воде закипеть. Регулятор периодически включал и выключал подачу газа в главную горелку, которая поджигалась от запальной, горевшей постоянно. Система работала за счет естественной циркуляции подогреваемой воды (конвекция), без насоса, что обеспечивало ее надежность.

Наш лицевой счет включал две большие комнаты (35 квадратных метров каждая) где, как я отметил выше, жили шесть человек, составлявших две родственные семьи: одну комнату занимали мои бабушка с дедушкой, а другую мои родители с детьми, то есть с моей старшей сестрой и мной. Комнаты были сугубо смежные… то есть одна проходная, что создавало много неудобств. Пришло время, и сестра вышла замуж, тогда в одной комнате отгородили угол фанерной перегородкой (не до потолка), где и поселились молодожены. Через какое-то время молодая семья стала ждать прибавления, и вопрос жилья еще более обострился. И тогда нашей маме пришла в голову нестандартная идея, как разгородить комнаты, так чтобы получилось несколько небольших, но непроходных помещений. Замечу, что до этого много лет мы сами и наши знакомые не находили решения и комнаты окончательно считались сугубо смежными».

Буржуйка, печь и прочие знатные девайсы ушли в прошлое примерно в середине прошлого столетия, когда центральное отопление сделалось нормой. Другое дело, что жители ком-

муналок поспешили с ними расставаться. Отопление оказалось делом ненадежным. Разве что счастливые – как выяснилось, вдвойне счастливые обладатели печей стремились разобрать свои громоздкие сооружения и таким образом высвободить для себя приличное количество свободного и очень дефицитного пространства.

Так называемые «беседчики» – специальные люди, выявлявшие настроение в народных массах и докладывавшие об этих настроениях куда надо – отмечали: «В доме №3/10 по Старопименовскому переулку квартиры с тридцатого по сорок третий номер не отапливаются в течение двух недель. Жильцы написали коллективное письмо га имя заместителя председателя Свердловского райисполкома т. Тютюкина с просьбой восстановить паровое отопление. Не получив необходимой помощи, они обратились с этой же просьбой к начальнику райжилотдела т. Воронову, который также ничего не сделал». Шел январь 1946 года. Старая добрая буржуйка пришлась бы очень кстати.

Впрочем, не только отопление подводило. Случались и другие неисправности: «Избиратели дома №76 по Ленинградскому шоссе приложили к бюллетеню записку, в которой просят отремонтировать электропроводку и щиты, так как в течение пяти лет по нескольку месяцев сидят без света. Выселить мастерские и склады из подвала, шум от которых не дает покоя ни днем, ни ночью».

Любопытно, что у мастерских и складов электричество откуда-то бралось.

* * *

В парадном же углу стояла швейная машина. Не обязательная, но весьма распространенная часть советского коммунального интерьера, она пользовалась безмерным уважением своих и безграничной завистью соседей. Еще бы – с помощью машинки можно продержаться в самую суровую годину – и самому обшиваться, и семейство обшивать, и, рискуя попасть в лапы фининспектора, немножечко шить на заказ.

Юрист Нина Сергеевна Покровская писала в дневнике в 1946 году: «Когда мы шли домой, Маруся сказала: „Эх, Нина Сергеевна, люди вы хоть и образованные, а жить вы не можете. Разве умный человек на зарплату живет? У вас есть швейная машинка, я буду доставать ситец, а вы быстренько шейте платья, я буду их на рынке девчатам продавать. Заживем мы с вами во как! А службу эту вашу бросьте!“ Я ничего ей на это не сказала».

А вот воспоминания врача Татьяны Терешенковой: «Я уже 3 день в отпуске. Арендовала у Нининой свекрови швейную машинку, и теперь начну шить забавные вещицы. Мануфактуру я накупила, благодаря Сашиным премиальным совершенно безболезненно для ежедневного бюджета».

Так что окончательно с советской службой можно было и не расставаться.

Советские швейные машинки – один из парадоксов коммунальной эпохи. Дело в том, что внешний вид этих изделий абсолютно диссонировал с социалистическими образом жизни, образом мысли и всем прочим. За окном – серпы и молоты, памятники вождям, призывы выполнить все планы раньше времени, бравые милиционеры, черные воронки и так далее. А в светлой комнате обычной коммуналки стоит, накрытая платком (в то времена было необъяснимое поветрие – все накрывать салфетками, платками, одеялами и полотенцами) абсолютно сказочная вещица. Затейливые орнаменты, позолота, чеканка, цветочки и листики солнечные диски и мифические животные. Как будто бы эта машинка явилась из другой, дореволюционной безмятежной жизни.

Самое интересное, что ровно так оно и было.

В 1900 году фирма «Зингер» приступила к строительству собственного завода в Московской губернии, в городе Подольске. По всей России, что ни шаг, встречались объявления:

«Настоящие швейные машины «Зингер».

Специально для домашнего употребления,
с простою и изящной отделкой для всякого рода портняжных
и белошвейных, а также сапожных, шорных и седельных работ;
для фабрикации корсетов, зонтов, перчаток, трикотажей, мешков,
брезентов, палаток, приводных ремней и проч.»

Даже в провинциальном, захолустном Суздале был свой зингеровский представитель – некто Иван Жилин. Он торговал машинками на Главной улице, в собственном доме, и у Жилина по каталогу можно было заказать полный ассортимент.

Главное здание фирмы «Зингер», увенчанное огромным глобусом, до сих пор стоит на главной улице тогдашней столицы Российской империи – Невском проспекте. Его выстроили в 1904 году, оно стало сенсацией. Николай Заболоцкий писал:

Там Невский в блеске и тоске,
в ночи переменивший кожу,
гудками сонными воспет,
над баром вывеску тревожил;
и под свистками Германдады,
через туман, толпу, бензин,
над башней рвался шар крылатый
и имя «Зингер» возносил[1].

Филиал развивался немыслимыми темпами – швейные машинки были вещью ходовой. К 1917 году фабрика насчитывала 37 корпусов. И регулярные жалобы рабочих – а их было около пяти тысяч. Низкие заработки, десятичасовой рабочий день, сверхурочные, отсутствие вентиляции.

Рабочие были морально готовы к революции и сразу же, безоговорочно, приняли ее. В качестве протеста почему-то перестали выпускать свой основной продукт – взялись за производство сковородок, утюгов и бытовых весов. Но в скором времени стало понятно – даже при новой, большевистской власти, штаны сами по себе из материи не складываются, а пиджаки не шьются. Заявленная было идея освобождения женщины от домашнего быта медленно проваливалась – в силу множества причин, не место здесь анализировать это явление.

И вот в 1923 году на подольском заводе было восстановлено производство зингеровских швейных машин. Разве что вместо слова «Singer» на них теперь писали «ПМЗ» – «Подольский механический завод». И уже через пять лет один немецкий журнал писал про заводчан: «Они совсем от нас отделались – освоили последние детали».

А художественное оформление сменить не удосужились. Не переехали на корпуса швейных машин ни трактора, на памятники Ленину, ни ДнепроГЭС. Разве что на логотипе красовалась пятиконечная советская звезда. По сути, вся эта швейная сказка перекочевала из прошлого в будущее, пусть еще не построенное.

Такое ощущение, что вместе с доброй сказкой перешла и злая. Обладатели что старых «Зингеров», что новых «ПМЗ» (внешне они были практически неотличимы друг от друга) совершенно неожиданно попали в группу риска. Дело в том, что по стране поползло множество слухов, связанных с этими девайсами. Кто-то говорил, что машинки с надписью «Singer» – настоящие, а «ПМЗ» – поддельные (в действительности оба варианта были правильными).

Но это еще не беда. Случалось, жителя простой советской коммуналки убивали ради обладания простой, казалось бы, швейной машинкой – многие верили, что в ранних моделях использовались такие драгоценные материалы как палладий и платина. Якобы тогда еще

[1] Н. А. Заболоцкий «Вечерний бар» (1926).

не знали об их настоящей ценности, и обращались с ними как с обыкновенным чугуном. Но ничего подобного, конечно, не было – истинная стоимость этих металлов стала известна задолго до появления компании «Зингер».

Не менее абсурдным было и предположение, что для некоторых швейных игл используют так называемую «красную ртуть». Но для простого обывателя, уконтропупленного ради обладания столь щедрыми природными дарами это было слабым утешением.

Швейная машинка была вещью с большой буквы. Прекрасный подарок, однако не слишком доступный. Геолог Борис Вронский писал в дневнике в 1963 году:

«Завтра день 8 марта – день, в который подчеркивается, что женщина не равноценна мужчине.

Подготовили подарки нашим женщинам – бабе духи «Серебристый ландыш», нож для чистки и резки яблок и записную книжку АН СССР.

Ляле флакон духов «Кристалл» и тоже записную книжку.

Наташе – набор цветных карандашей, флакон духов и общую тетрадь.

Кроме того, договорились с Бобом о том, что сложимся по 10 руб. для «затравки» на приобретение швейной машинки в кредит».

Да, купить «общую тетрадь» было гораздо проще.

Значительно раньше, в 1927 году смоленский столяр Константин Измайлов сокрушался: «Мама сегодня купила швейную машинку за 25 рублей у свата… Денег уплатила 13 рублей, остальные через две недели. Машинка будет собственностью мамы».

А вот схожая запись в его же дневнике: «Швейную машинку отдали в ремонт Губареву. Швейную машинку, которую купили за 100 рублей у Сибирцева в мае м-це сего года сегодня отдавали в ремонт слесарю Губареву, который ее разобрал, всю прочистил и снова собрал и смазал. За работу взял 6 рублей. Теперь уже машинка наша стоит 106 рублей».

Инфляция, ничего не поделаешь.

Разве что в войну, в канун эвакуации швейная машинка – в первую очередь, в силу немалых габаритов – несколько утратила свою привлекательность для обывателя. Портняжный промысел, конечно, далеко не лишний, но ведь все за собой не утащишь, особенно по легендарной Дороге жизни. Художница Елена Мухина, блокадница, рассказывала, как пыталась избавиться от фамильной машинки: «Начала я с того, что потащила в комиссионный швейную машинку. Но сдавать ее на комиссию у меня не было времени, а за наличный расчет мне давали 96 рублей. Я решила, что это слишком дешево. В моих расчетах было продать ее за дешевку рублей за 125, 100, но уж никак не меньше. Я решила пойти на рынок. На улице меня остановила одна очень интеллигентная с виду женщина. Я сказала, что продаю машинку за 200 рублей. Она пожелала ее осмотреть и пришла ко мне домой. Осмотрев, предложила мне 150 рублей. Я согласилась, так как не хотела упускать первого же подходящего случая и тащить опять куда-то такую тяжесть. Когда она узнала, что я собираюсь уезжать и все распродаю, она стала отбирать себе вещи. Сперва книги, потом посуду, потом тряпки. Потом она расплатилась и сказала, что сейчас придет за машинкой. Вернулась она со своей соседкой. Только к вечеру они ушли от меня. Они накупили у меня разных вещей на 570 рублей. Потом я сходила к Якову Григорьевичу и сговорилась с ним, что он дает мне 550 рублей с тем, что все, что осталось в моей комнате после моего отъезд будет принадлежать ему».

Так обыкновенная подольская машинка помогла разжиться ощутимой суммой денег, далеко в этот момент не лишней.

Не все, впрочем, были столь мудры. Другой блокадник, писатель Иван Федорович Кратт делился наблюдениями: «На самолетах в ноябре эвакуировали не только рабочих заводов, но и их семьи. Аэродром похож на вокзал III класса.

Женщины с узлами, тюками, рев детей. Многие тащат с собой швейные машинки, хотя вес багажа на человека до 20 колограммов. Обычное российское «богатство» – машинка. Потом приходится бросать».

В 2011 году в Подольске был торжественно открыт памятник швейной машинке «Зингер». Казалось бы, в этой истории поставлена внушительная точка. Но нет – слухи о том, что в «Зингерах» используются драгметаллы и притом в больших количествах, ходят до сих пор. Так что владельцам этих антикварных красавиц следует поостеречься.

* * *

В тех же коммунальных комнатах, в которых проживала интеллигенция, существовал еще один предмет, пользующийся всеобщим поклонением. Но, если швейная машина чаще приносила деньги в дом, тот эта вещь их тратила с невероятной силой.

Фотоаппарат.

Содержать его было непросто. Пленки, экспонометры, проявочные бачки, пинцеты, тазики, кюветы для проявителя и фиксажа, сами проявитель и фиксаж или химические вещества для приготовления оных, раздвижная рамка для печати, красный фонарь, глянцеватель и фоторезак. Все это требовало постоянных денежных вливаний. Сами же снимки выходили смазанными и нерезкими, белесыми, но с желтыми подтеками по бокам. И даже затейливая бахрома, оставленная фоторезаком после так называемой «художественной обрезки» радовала мало.

К тому же постоянно требовалось то свежая (желательно, проточная) вода, то темная комната (как правило фотолюбители претендовали на общий чулан). Сушиться фотографии как правило, вывешивали в кухне, на тех же веревках, что белье и одежду. И даже зацепляли их теми же самыми прищепками.

Надо ли говорить, что многочисленные коммунальные соседи все как один осуждали домашних фотографов, что, естественно, сказывалось на психологическом климате в квартире. И вряд ли в лучшую строну.

Но порвать с этим прожорливым и неудобным увлечением было невозможно в принципе.

Первое время в ходу были громоздкие пластиночные фотоаппараты, по большей части фирмы «Кодак», оставшиеся во владении граждан еще с дореволюционных времен. Затем начался плавный переход на пленочные, гораздо более компактные дальномерные «Лейки». Увы, они были импортные, немецкие, и доставались только тем, кто имел либо много денег, либо возможность ездить за границу, но лучше и то, и другое.

Так продолжалось до 1934 года, пока бывшие беспризорные из харьковской колонии Антона Макаренко не совершили под чутким руководством самого Антона Семеновича сначала акт промышленного шпионажа, а потом воспользовались его результатами. А дело обстояло так.

В 1932 году на территорию коммуны доставили последнюю модель известнейшего и популярнейшего в то время фотоаппарата «Leica II». Этому предшествовал разговор в верхах, описанный Макаренко: «В 1932 году было сказано в коммуне:

– Будем делать лейки!

Это сказал чекист, революционер и рабочий, а не инженер и не оптик, и не фотоконструктор. И другие чекисты, революционеры и большевики, сказали:

– Пусть коммунары делают лейки!

Коммунары в эти моменты не волновались:

– Лейки? Конечно, будем делать лейки!

Но сотни людей, инженеров, оптиков, конструкторов, ответили:

– Лейки? Что вы! Ха-ха…

Вокруг те же вздохи сомнения, те же прищуренные стекла очков:

– Лейки? Мальчики? Линзы с точностью до микрона? Хе-хе!

Но уже пятьсот мальчиков и девчат бросились в мир микронов, в тончайшую паутину точнейших станков, в нежнейшую среду допусков, сферических аберриций и оптических кривых, смеясь, оглянулись на чекистов».

Дело с фотоаппаратом пошло. Вчерашние карманники и форточники полностью разобрали его, тщательно осмотрели, а затем собрали. Руки у них были умелые, а пальцы чуткие. Лишних деталей не осталось. Фотоаппарат свою работоспособность сохранил.

Пока рассматривали его устройство, кому-то пришла в голову идея – изменить механизм установки кассеты с пленкой. У оригинальной «Лейки» она осуществлялась с нижнего торца. Для коммунаров с их специфическим прошлым подобная операция не составляла большого труда. А вот у человека неподготовленного, а тем более пожилого, могли возникнуть проблемы. Решили снабдить новый фотоаппарат откидывающейся задней крышкой. Таким образом весь механизм оказывался на виду, установка и изъятие кассеты сделалось элементарной задачей.

Первые образцы, как водится, были подарены членам советского правительства. А в 1934 году первый «ФЭД» (что означало «Феликс Эдмундович Дзержинский») был, наконец, запущен в серию. Первая партия – 1800 экземпляров – была распродана молниеносно. Следующая состояла уже из 15 тысяч штук. До начала Великой Отечественной было продано 160 165 аппаратов. Всего же было выпущено более 765 фотокамер разных модификаций. Их производство прекратилось лишь в начале 1990-х, когда Украина отделилась от России, магазины оказались завалены недорогими пластмассовыми камерами-автоматами, а на горизонте маячила эпоха цифрового фото.

«ФЭД» и вправду сделался легендой. Известна история о том, как некая советская туристка уронила этот фотоаппарат со смотровой площадки Эйфелей башни. Французский гид принялся утешать ее – дескать, мадам, все к лучшему, мы вам подарим камеру известного европейского бренда, а может быть, даже американский «Кодак»» Мадам, однако, от подарка отказалась, а просто попросила, чтобы кто-нибудь спустился вниз и принес ей оброненный «ФЭД». У которого, как выяснилось, лишь слегка помялся верхний щиток. И, якобы, французы долго уговаривали продать им чудо-камеру, все повышали цену, а дама из загадочного СССР ответила согласием, только когда ей предложили обменять этого «железного Феликса» на ящик «Шанели №5».

Конечно, это всего-навсего легенда, и притом явно придуманная мужчиной, – благородные духи, в отличии от коньяка и водки, ящиками не продают. Легенда однако же не одинока – рассказывали об альпинистах, которые на спор (конечно же с американцами) сбрасывали свои «ФЭДы» с вершин кавказских гор, и камеры, ясное дело, были после этого как новенькие. Рассказывали и другие небылицы. Все эти истории активно вкручивались увлеченными фотолюбителями на коммунальных кухнях, чтобы хотя бы как-то оправдать свое столь неудобное хобби.

Факт, однако же, был неопровержим – коммунарам Антона Макаренко удалось создать уникальную камеру, которая, несмотря на свои малые габариты и вес, отличается не только высоким качеством съемки, но и фантастической надежностью. Знаменитая песня фронтовых корреспондентов – «С „Лейкой“ и с блокнотом, а то и с пулеметом» – это на самом деле про него, про «ФЭД». В то время все компактные фотоаппараты называли «Лейками» – как, например, сегодня все копиры называют «ксероксами».

А в 1952 году советские фотолюбители разделились на два класса. Первые продолжали держать свои фотоаппараты на полочках и на этажерках, а вторые убирали их в специальные шкафчики. Да и сами камеры у тех, вторых были другие.

В этот год на Красногорском механическом заводе был выпущен первый в стране зеркальный фотоаппарат «Зенит». И эта камера требовала к себе совершенно иного, более уважительного отношения.

Она так и назывался – просто «Зенит», без всяких букв и цифр. Это был первый советский фотоаппарат, процесс визирования в котором осуществлялся с помощью пентапризмы. В основу была положена конструкция дальномерной камеры «Зоркий», но имелось и принципиальное отличие. Фотограф смотрел в видоискатель – и перед ним с помощью несложной системы зеркал представало именно то изображение, которое впоследствии получится на фотопленке, а затем и на бумажном отпечатке. Здесь больше не было так называемого параллакса – смещения кадра по вертикали из-за разницы в положении объектива и видоискателя. Резкость он тоже видел как раз так, как она получится на снимке. В момент нажатия на спусковую кнопку зеркало поднималось, открывало чувствительный слой фотопленки – и происходила собственно съемка. Никаких отрезанных лбов, никаких ошибок в ГРИП – границе резко изображаемого пространства. Все выходило именно так, как задумал фотограф.

Кроме всего прочего, это была надежная, увесистая и внушительная штуковина. «Зенит» сразу стал популярен. А в 1957 году одна из камер побывала в космосе – очередное достижение, работающее на силу бренда.

Затем началась череда усовершенствований. Вместо «Зенита-2» был «Зенит-С», который отличался более качественным затвором и синхроконтактом для вспышки.

Начиная с «Зенита-3», большое внимание стали уделять экспорту фотоаппарата. Гордое слово «Зенит» заменилось не менее гордым «Zenit». И, хотя среди иностранных покупателей явно преобладали граждане социалистического лагеря, это сделало бренд еще более мощным, еще более легендарным.

Своего рода шагом вперед стал «Зенит-4». Начиная с этой модификации, в фотоаппарат стали встраивать экспонометр. До того приходилось пользоваться внешним. Тогда же был существенно расширен и диапазон выдержек – возможности фотографа заметно увеличились.

«Зенит-5» поразил соотечественников. В нем был электропривод протяжки пленки. Курок, который приходилось взводить большим пальцем правой руки, казалось, навсегда ушел в прошлое.

Тем не менее, он вернулся уже в шестой модели. Она вообще вышла скорее упрощенной, чем технически продвинутой. С одной стороны, это был, конечно, минус. Но с другой – весьма заметный шаг в сторону доступности качественной фотографии как таковой. Да и особенной надежностью электромеханизм не отличался, а курок действовал безотказно.

А потом явилась самая популярная, самая массовая модель – «Зенит-Е». Названием она обязана своему главному разработчику – директору Красногорского завода Николаю Егорову. С этого времени пошла традиция присваивать «Зенитам» буквенные обозначения, руководствуясь именно этим принципом.

Выпускали и «Зенит-ЕС» – фоторужье с прикладом и настоящим оружейным курком. Называлась эта штука «Фотоснайпер». Продавалась в специальным чемодане – вместе с камерой, ружейным блоком и огромным длиннофокусным объективом в комплект входили бленда, всевозможные держатели, отвертки, ремни, крышки и кронштейны, а также четыре цветных светофильтра – для разных эффектов.

Фотоохота в то время была популярна и пропагандировалась как альтернатива охоте обычной. Все птички оставались живы и здоровы. Пострадать могли лишь их изображения. Поскольку брак в то время гнали в совершенно фантастических масштабах.

На «Зенитах» экспонометр, пусть и существовал, но с первых же дней эксплуатации начинал дико врать, а затем и вовсе тихо умирал. Приходилось таскать с собой внешний – коробочку с большим количеством шкал и крутилок. Вес, конечно, не велик, но без него было как-то свободнее, что ли.

При этом сам производитель признавал свою халтуру. Вот цитата из материала, опубликованного в 1966 году в красногорской заводской многотиражке «Советский патриот»: «Большой спрос на фотоаппараты “Зенит-Е», часто его нет в продаже. Аппарат в целом хороший, но товароведы подсчитали, что около 40 процентов камер поступает с браком. Это слишком много».

Увы, со временем качество не росло. Чем более массовым становилось производство, чем больше становилось в нем всяких усовершенствований, тем чаще все это хозяйство давало сбой. Помимо уже упомянутого мертворожденного экспонометра фотоаппарат обладал массой других недостатков. Его заклинивало, он рвал пленку или же засвечивал ее, вытягивал хвост пленки из катушки (в результате все, опять таки, засвечивалось), ошибался в экспозиции и просто банально ломался.

Кто и где?
Кто проживал в коммуналках

По большому счету, коммуналка – идеальный генератор случайных чисел. В том-то и состоял их ужас – общими стенами и общим бытом связывались самые разные люди. И не имели возможности разойтись по сторонам. Да, иногда в этом калейдоскопе складывались презанятнейшие узоры. Но подобное случалось редко – в соответствии с теорией вероятности. Чаще в одном помещении оказывались люди, совершенно того не желавшие.

Татьяна Окуневская, будущая известная актриса, в детстве проживавшая в огромной коммуналке на Никитском бульваре, вспоминала о своих соседях:

«Один холостяк, интеллигентный человек, какой-то служащий, немолодой, солидный… Рядом с интеллигентом живет рабочий с тремя детьми. Как только этот интеллигент приходит домой, этот рабочий, всегда пьяный, выпускает своих троих детей под его дверь, и начинается светопреставление: этот рабочий хочет выселить интеллигента и занять его комнату.

Есть партийный работник, который кем-то был в революцию, теперь больной, пожилой, злой, на пенсии, жена из деревни. В квартире он высший класс и верховный судья.

Есть еврейская семья, муж и жена. Она очень красивая, тихая, безропотная, у нее никого на свете нет. Он – маленький урод, на кривых ногах, с крохотными глазками, с огромным носом, лысый, рот с кривыми зубами. Его ненавидят за то, что он издевается над женой, устраивает ей сцены ревности, запирает ее в комнате неделями, бьет, все это слышно и видно, после скандала она выходит в синяках, он даже на кухне при всех начинает ее щипать. Один раз, когда раздались ее стоны, Папа вскочил с криком «половой маньяк» и ринулся к двери, все повисли на папе и схватили Бишку, Бишка тоже рвался вместе с папой. Я боюсь спросить у папы, что такое «половой маньяк», а вскоре в ванной комнате, когда никого не было, этот «половой маньяк» схватил меня за грудь, я дала ему пощечину и папе, конечно, не рассказала, потому что стало бы меньше на одного жильца. Но теперь я этого «полового маньяка» боюсь. Папа правильно всех их опасается. Они уже откуда-то знают, что папа выписан из квартиры, и хитро выспрашивают, где он живет и разошелся ли с мамой».

Соседство подчас складывалось самое неожиданное. Да и формировалось то соседство иной раз самыми абсурдными путями. Писатель Исаак Бабель жил в огромной двухэтажной квартире вместе с австрийским инженером Бруно Штайнером, главой представительства фирмы «Элин», продававшей оптом разное электрооборудование. На первом этаже были передняя столовая, кухня и общий кабинет. А на втором – спальни.

Дело же обстояло так. Сначала представительство было достаточно большим, насчитывало несколько специалистов, и все они проживали в этой роскошной шестикомнатной квартире. Но в какой-то момент объемы торговли весьма ощутимо уменьшились, а потом и вообще сошли на нет. Всех, кроме Штайнера, отправили обратно в Австрию, его же оставили в качестве технического консультанта по уже проданным агрегатам.

Опасаясь, что к нему подселят кого-нибудь совсем неподходящего, он через свою знакомую, писательницу Лидию Сейфуллину, вышел на Бабеля, который в это время не имел собственного жилья. Решив, что Исаак Эммануилович – совсем не худший вариант, он пригласил его в соседи. Бабель согласился. Рассказывал: «Мы разделили верхние комнаты по две на человека, а столовой и кабинетом внизу пользуемся сообща. У нас со Штайнером заключено „джентльменское соглашение“, – все расходы на питание и на обслуживание дома – пополам, и никаких женщин в доме».

Напротив дома находился храм Николая Чудотворца в Воробине, а сам переулок назывался Николоворобинским. Бабель прикидывался краеведом, уверял своих гостей, что церковь

называется «Никола в Воробьях», так как «была построена с помощью воробьев, то есть в том смысле, что воробьев ловили, жарили и продавали».

* * *

В те времена возникло целое искусство – искусство подселения. В частности, художник Валентин Кудров, только вернувшийся с фронта Гражданской войны, ходил искать себе квартиру, переодевшись в более респектабельный костюм своего приятеля, тоже художника Евгения Чарушина: «Чтобы не пугать никого своим солдатским видом, переодеваюсь во все чарушинское – известно, что по одежке встречают, – и хожу по адресам. На 8-й линии попадаю в большую богатую квартиру, где сдается комната с мебелью… Разыгрываю из себя молодого человека из „хорошего дома“. Все идет как нельзя лучше, цена божеская, и я, не раздумывая, соглашаюсь».

Поясню насчет цены. Был небольшой период – разумеется, во время нэпа – когда ответственный квартиросъемщик считался как-бы владельцем квартиры, и за сданные комнаты получал пусть символическую, но плату. Правда, этот пережиток прошлого довольно быстро отменили.

Впрочем, иногда случалось и такое: «Совершенно неожиданно я узнала, что на Фурштатской (теперь Петра Лаврова) бывшая домовладелица под большим секретом продает за двести рублей две больших комнаты. Мы с мужем отправились туда, познакомились со старушкой-владелицей квартиры, и, хотя подобные продажи были совершенно незаконными, пообещали совершить эту сделку».

Черный рынок недвижимости процветал.

* * *

Разумеется, в этой системе существовали и определенные риски. Одним из подобных рисков оказался, среди прочих, поэт Анатолий Мариенгоф. Он писал:

«В Москве я поселился (с гимназическим моим товарищем Молабухом) на Петровке, в квартире одного инженера.

Пустил он нас из боязни уплотнения, из страха за свою золоченую мебель с протертым плюшем, за массивные бронзовые канделябры и портреты предков (так называли мы родителей инженера, развешанных по стенам в тяжелых рамах).

Надежд инженера мы не оправдали. На другой же день по переезде стащили со стен засиженных мухами предков, навалили их целую гору и вынесли в кухню.

Бабушка инженера, после такой большевистской операции, заподозрила в нас тайных агентов правительства и стала на целые часы прилипать старческим своим ухом к нашей замочной скважине.

Тогда-то и порешили мы сократить остаток дней ее бренной жизни.

Способ, изобретенный нами, поразил бы своей утонченностью прозорливый ум основателя иезуитского ордена.

Развалившись на плюшевом диванчике, что спинкой примыкал к замочной скважине, равнодушным голосом заводили мы разговор такого, приблизительно, содержания:

– А как ты думаешь, Миша, бабушкины бронзовые канделяберы пуда по два вытянут?

– Разумеется, вытянут.

– А не знаешь ли ты, какого они века?

– Восемнадцатого, говорила бабушка.

– И будто бы работы знаменитейшего итальянского мастера?

– Флорентийца.

– Я так соображаю, что, если их приволочь на Сухаревку, пудов пять пшеничной муки отвалят.

– Отвалят.

– Так вот пусть уж до воскресенья постоят, а там и потащим.

– Потащим.

За стеной в этот момент что-то плюхалось, жалобно стонало и шаркало в безнадежности туфлями.

А в понедельник заново заводили мы разговор о «канделяберах», сокращая ничтожный остаток бренной бабушкиной жизни.

Вскоре раздобыли себе и сообщников на это гнусное дело.

Стали бывать у нас на Петровке Вадим Шершеневич и Рюрик Ивнев».

Принимал участие в этом забавном фестивале и Сергей Есенин: «Перед тем как разбрестись по домам, Есенин читал стихи. Оттого ли, что кричал он, ввергая в звон подвески на наших „канделяберах“, а себя величал то курицей, снесшейся золотым словесным яйцом, то пророком Сергеем; от слов ли, крепких и грубых, но за стеной, где почивала бабушка, что-то всхлипнуло, простонало и в безнадежности зашаркало шлепанцами по направлению к ватерклозету».

Так развлекались стихотворцы первых лет советской власти, находившие, по молодости лет, радости даже в коммунальном проживании.

В отличие от бабки в шлепанцах.

И опять Мариенгоф, и снова тема «грамотного подселения»: «К осени стали жить в бахрушинском доме. Пустил нас на квартиру Карп Карпович Коротков – поэт, малоизвестный читателю, но пользующийся громкой славой у нашего брата.

Карп Карпович был сыном богатых мануфактурщиков, но еще до революции от родительского дома отошел и пристрастился к прекрасным искусствам.

Выпустил он за короткий срок книг тридцать, прославившихся беспримерным отсутствием на них покупателя и своими восточными ударениями в русских словах.

Тем не менее расходились книги довольно быстро, благодаря той неописуемой энергии, с какой раздавал их со своими автографами Карп Карпович!

Один веселый человек пообещал даже два фунта малороссийского сала оригиналу, у которого бы оказалась книга Карпа Карповича без дарственной надписи.

Риск был немалый.

В девятнадцатом году не только ради сала, но и за желтую пшенку неделями кормили собой вшей в ледяных вагонах. И все же пришлось веселому человеку самому съесть свое сало.

Комната у нас была большая, хорошая».

Но это еще не конец эпопеи.

«Мы перебрались… в маленькую квартирку Семена Федоровича Быстрова в Георгиевском переулке у Патриарших прудов.

Быстров тоже работал в нашей лавке.

Началось беспечальное житье.

Крохотные комнатушки с низкими потолками, крохотные оконца, крохотная кухонька с огромной русской печью, дешевенькие обои, словно из деревенского ситца, пузатый комод, классики в издании приложения к «Ниве» в цветистых переплетах – какая прелесть!

Будто моя Пенза. Будто есенинская Рязань.

Милый и заботливый Семен Федорович, чтобы жить нам как у Христа за пазухой, раздобыл (ах, шутник!) – горняшку.

Красотке в феврале стукнуло девяносто три года.

– Барышня она, – сообщил нам из осторожности, – предупредить просила.

– Хорошо. Хорошо. Будем, Семен Федорович, к девичьему ее стыду без упрека.

– Вот, вот!

Звали мы барышню нашу «бабушкой-горняшкой», а она нас: одного – «черным», другого – «белым». Семену Федоровичу на нас жаловалась:

– Опять ноне привел белый…

– Да кого привел, бабушка?

– Тьфу! сказать стыдно.

– Должно, знакомую свою, бабушка.

– Тьфу! Тьфу!., к одинокому мужчине, бессовестная. Хоть бы меня, барышню, постыдилась.

Или:

– Уважь, батюшка, скажи ты черному, чтобы муку не сыпал.

– Какую муку, бабушка?

Знал, что разговор идет про пудру.

– Смотреть тошно: муку все на нос сыплет. И пол мне весь мукой испакостил. Метешь! Метешь!

Всякий раз, возвращаясь домой, мы с волнением нажимали пуговку звонка: а вдруг да и некому будет открыть двери – лежит наша бабушка-барышня бездыханным телом.

Глядь: нет, шлепает же кожаной пяткой, кряхтит, ключ поворачивая. И отляжет камешек от сердца до следующего дня.

Как-то здорово нас обчистили: и шубы вынесли, и костюмы, и штиблеты. Нешуточное дело было в те годы выправить себе одежку-обувку.

Лежим в кроватях чернее тучи.

Вдруг бабушкино кряхтенье на пороге.

Смотрит она на нас лицом трагическим:

– А у меня сало-о-оп украли. А Есенин в голос ей:

– Слышишь, Толька, из сундука приданое бабушкино выкрали.

И, перевернувшись на животы, уткнувшись носами в подушки, стали кататься мы в смехе, непристойнейшем для таких сугубо злокозненных обстоятельств.

Хозяйственность Семена Федоровича, наивность квартирки, тишина Георгиевского переулка и романтичность нашей домоуправительницы располагали к работе».

Таким был пресловутый нерв этой эпохи.

* * *

«Эпоха коммуналок и „уплотнений“"», как назвал ее Владимир Лакшин, делала из людей каких-то монстров. Ильф и Петров описывали совершенно реальную ситуацию:

«*Действующие лица*:

Доктор Бердичевский – герой труда, персональный пенсионер, возраст семьдесят шесть лет.

Его жена – семьдесят пять лет.

Мартинюк – секретарь районного исполкома, бодрый, энергичный, пышущий здоровьем, полный молодого задора человек.

Место действия – город Бердянск.

Время действия – к сожалению, наши дни.

Пятьдесят один год Бердичевский лечил людей, сорок два года живет он в Бердянске, тридцать лет обитает в одной и той же квартире, на улице Республики. Оберегая покой старика, райисполком неизменно отражал все покушения на его жилплощадь. Но в конце прошлого года у доктора, по постановлению суда, отняли из пяти комнат три, и в эти три с гамом и стуком въехал Мартинюк. Стоит ли говорить, что докторскую мебель, тридцать лет простоявшую

на одних и тех же местах, по требованию судебного исполнителя, надо было убрать в двадцать четыре часа. Беспомощные старики развозили мебель по знакомым, втаскивали на чердак, втискивали в ванную комнату. В этой спешке много поломали.

Вселившись, жизнерадостный Мартинюк сразу же запретил работнице доктора проходить через его коридор, ведущий на черную лестницу. Поэтому пришлось хранить топливо у знакомых, на другой улице, и ежедневно носить ведрами. Мартинюк почему-то перегородил общий коридор и только после долгих настояний сделал маленькие, узенькие дверцы, которые, как хороший администратор, всегда держит на запоре. А дверцы-то ведут в уборную. Каждый раз приходится стучать. Иногда подолгу стучать. Иногда вообще не открывают. Однажды гость доктора постучался в заветные дверцы.

– Кто? – раздался голос.

– Гость доктора, которому необходимо в уборную, – последовал точный отчет.

– Не позволяю, – последовала не менее точная резолюция.

Ну можно ли так мучить стариков, отравлять им жизнь, отбирать комнаты, строить какие-то дурацкие дверцы! Разве может такой человек, как Мартинюк, представлять советскую власть в Бердянске? Ведь это нелепо!

Вы только подумайте! Старик, полвека лечивший людей, заслуженный человек, которым Бердянск, несомненно, гордится, вдруг в конце своей жизненной дороги натыкается на запертые мартинюковские дверцы, принужден слушать молодецкие фразы вроде: «в двадцать четыре часа!» и сделаться лишним человеком в своей квартире».

* * *

На что только не шли – лишь бы избежать нежелательного уплотнения. Кто-то на собственные деньги делал ремонт всей квартиры. По закону, таковых не уплотняли, но вопрос решал особый суд, который, чаще всего, принимал ровно противоположное решение. Не удивительно – ведь деньги на ремонт имелись лишь у «нэпманов» и «недобитых буржуев», а вселялись, как правило, «красноармейцы, рабочие, свинарки и пастухи».

Михаил Булгаков в своих зарисовках «Москва 20-х годов» описывал еще одну изящную авантюру: «Николай Иванович отыгрался на двух племянницах. Написал в провинцию, и прибыли две племянницы. Одна из них ввинтилась в какой-то вуз, доказав по всем швам свое пролетарское происхождение, а другая поступила в студию. Умен ли Николай Иванович, повесивший себе на шею двух племянниц в столь трудное время?

Не умен-с, а гениален.

Шесть комнат остались у Николая Иваныча. Приходили и с портфелями и без портфелей и ушли ни с чем. Квартира битком была набита племянницами. В каждой комнате стояла кровать, а в гостиной две».

Под Николаем Ивановичем подразумевался родной дядя писателя, гинеколог Николай Михайлович Покровский, и вправду проделавший нечто подобное. А еще один булгаковский герой, профессор Преображенский из «Собачьего сердца», как мы помним, избежал «уплотнения», задействовав влияние и связи своих высокопоставленных пациентов.

Впрочем, для Михаила Афанасьевича «квартирный вопрос» всегда стоял остро.

* * *

Другой булгаковский герой, Филипп Филиппович Преображенский, по всей видимости, обладал так называемой охранной грамотой – особым документом, подписанным лично кем-нибудь из высших правительственных чиновников. Это был предел мечтаний каждого более

или менее известного человека. А неизвестные об этой грамоте, ясное дело, даже не мечтали, и, вероятнее, всего, просто не знали о существовании подобной льготы.

Вот, например, как выглядела охранная грамота Максимилиана Александровича Кириенко-Волошина:

«Настоящая охранная грамота выдана поэту Максимилиану Волошину в том, что он – Максимилиан Волошин – состоит под особым покровительством Советской власти, органам которой предлагается оказывать ему всяческое содействие.

1) Его дача и художественная мастерская в Коктебеле вместе с библиотекой, художественными произведениями, литературными архивами и вещами не подлежит ни уплотнению, ни реквизициям, ни обыскам без специальной на то санкции Наркомпроса и находится под охраной государства. Основания: постановление Президиума Революционного комитета Крыма от 13 мая 1921 года и телеграммы председателя ВЦИК т. Калинина за номерами 4025/к и 1143/к.

Председатель ВЦИК нарком просвещения РСФСР».

Чтобы получить подобный документ, требовались особые заслуги перед новой властью, знакомства (а попросту говоря, блат), народная известность. Не «или», а «и». Не что-нибудь одно, а все сразу. Одного только блата или же одних заслуг было, ясное дело, недостаточно.

Александру Блоку приходилось много хуже. Несмотря на поэму «Двенадцать», такой грамоты у Блока не было. От ужаса перед тем, что к нему вселят красноармейца, да еще не одного, у него началась нервная болезнь. Зинаида Гиппиус злорадствовала: «Жаль, если не вселят. Ему бы следовало их целых „12“. Ведь это же, по его поэме, 12 апостолов, и впереди них „в венке из роз идет Христос“!»

Болезнь в результате переметнулась на весь организм, и в 1921 году Блок скончался, так и не разменяв пятый десяток.

Та же Гиппиус рассказывала о Ходасевиче и Горьком: «Х. вывернулся. Получил вагон дров и устраивает с Горьким «Дом искусств».

Вот два писателя (первоклассные, из непримиримых) в приемной комиссариата Нар. просвещения. Комиссар К. – любезен. Обещает: «Мы вам дадим дрова; кладбищенские; мы березы с могил вырубаем – хорошие березы». (А возможно, что и кресты, кстати, вырубят. Дерево даже суше, а на что же кресты?)»

А вот рассказ врача-иммунолога Ивана Ивановича Манухина о посещении так называемой комиссии по вселению:

«Видал, кажется, Совдепы всякие, но таких архаровцев не видал! Рыжие, всклокоченные, председатель с неизвестным акцентом, у одного на носу волчанка, баба в награбленной одежде… «Мы – шестерка!», а всех 12 сидит.

Самого Кокко (начальник по вселению, национальность таинственна) – нету. «Что? Кабинет? Какой кабинет? Какой ученый? Что-то не слыхали. Книги пишете? А в «Правде» не пишете? Верно с буржуями возитесь. Нечего, нечего! Вот мы вам пришлем товарищей исследовать, какой такой рентген, какой такой ученый!»».

Пришел оставить за собой рентгеновский кабинет – а получил неприятность.

* * *

Впрочем, причастность к науке, как ни странно, во всяком случае, первое время, действительно, могла облегчить участь уплотняемого. Михаил Осоргин писал в романе «Сивцев Вражек»:

«Раньше у Астафьева была здесь квартира; сейчас остались за ним две комнаты, а в третьей жил одинокий рабочий, человек робкий и забитый. Приходил к вечеру, ложился спать, и Астафьев его почти не видел.

Зарились и на вторую комнату Астафьева, где у него оставалась библиотека, но пока комнату он сумел отстоять охранительной бумажкой, по своему преподавательскому званию. Зимой она была холодна и необитаема, летом он рассчитывал в ней работать и принимать, если только будет кого принимать и над чем работать.

Придя, переоделся, набил новую трубку и взял книгу.

Вместе с запахом навоза и нечистот проникал в окно и весенний воздух».

А другому ученому – из того же романа – повезло несколько меньше:

«Старый орнитолог долго перелистывал книгу, всматриваясь в иллюстрации… Надел висевшее тут же, в комнате, пальто и свою уже очень старую шляпу, пристроил поудобнее под мышку портфель и вышел, дверь дома заперев американским ключиком.

В столовой особнячка теперь жили чужие люди, въехавшие по уплотнению. Дуняша жила наверху в комнатке, рядом с бывшей Танюшиной; в Танюшиной же комнате поселился Андрей Колчагин, – только дома бывал редко, больше ночевал в Совдепе, где в кабинете своем имел и диван для спанья.

Дуняша иногда помогала Тане в хозяйстве, так, по дружбе; прислугой она больше не была – была жилицей».

Впрочем, со временем фортуна отвернулась и от первого ученого, товарища Астафьева. Вот очередной фрагмент романа, не требующий пояснений:

«В этот день Завалишин был с утра трезв и мрачен. С Лубянки домой ушел под вечер, так как день был не рабочий. Дома сидел на постели, сняв новый пиджак, недавно доставшийся ему после «операции». Анна Климовна в кухне ставила самовар и готовила закусить перед сном.

Не то чтобы Анна Климовна жадничала, а как-то не могла она примириться с тем, что дверь в комнаты Астафьева все еще стояла опечатанной.

– Сколько времени нет его, может, и совсем не вернется, а комнаты зря пропадают. Может, похлопотал бы, их бы и отпечатали. А и так бы снял печати, ничего тебе не будет за это.

– На что тебе его комнаты?

– А что же нам, в одной жить да в кухне? Набросано добра, а девать его некуда.

– Нельзя.

– А почему нельзя-то?

– Раз говорю, нельзя. Может человек вернуться, а комнаты его нет. Там его вещи.

– Подумаешь, буржуя жалко. Больно уж ты о нем заботливый.

– Отстань, Анна, не морочь голову. Ты его и в глаза не видала, а я его знаю.

– Приятель какой.

– А может, и впрямь приятель! Может, он мне жизнь покалечил, а я его уважаю, вроде как за лучшего приятеля.

Помолчав, прибавил:

– Пивали вместе, ну и что же? Голова умнеющая, до всего дошел. А что забрали его – ничего не доказывает. И не тебе, дуре-бабе, о нем рассуждать. Ученый человек – не нам, мужикам, ровня.

– Ученый… Чему тебя научил ученый твой?

– Чему научил, про то мне знать. Говорю тебе, может, он мне есть самый злой враг, а я его уважаю и пальцем тронуть не позволю. Вот. У него в комнатах одних ученых книг столько, сколько у тебя тряпок не найдется. И все книги он прочел, про все знает. И между прочим, со мной, с малограмотным, простым человеком, спирт пил за равного. Это понимать надо, Анна. Да только не твоими бабьими мозгами».

«Бабьи мозги» Анны Климовны шевелились, однако же, соразмерно эпохе:

«Думала Анна Климовна завести на кухне кур – как другие делали, но побоялась, что куры будут мешать спать, да и грязь от них, пахнет тоже нехорошо. И зачем? Яиц и так можно раздобыть за свои деньги. Но однажды узнав, что одна старая ее приятельница, огород-

ница, откормила большую свинью и нажила на этом целое богатство, – решила сделать то же. Не в богатстве дело, а в том, чтобы иметь настоящее хозяйство, а к праздникам заготовить и закоптить жирные окорока. Все это Анна Климовна, родом с юга, отлично умела делать. На откорм свинушки все соседи с удовольствием будут отдавать бросовую ботву, помои, все, чего даже голодный люд не ест; и в настоящем, для сала нужном корме тоже недостатка не встретится. Когда же малый поросеночек вырастет в большую и жирную свинушку, – он сам окупит свое воспитание. О помещении хлопотать не придется. Дла начала – кухня, придется поросеночка купать и держать в тепле; но после же Денисов, одобривший хозяйственный план Анны Климовны, обещал отвести одну из малых светлых надворных кладовок в полное распоряжение; все равно пустуют…

Вначале было много страхов: не отощал бы, не заболел бы, не погрызли бы его крысы. Когда подрос, все заботы Анны Климовны обратились на то, чтобы свинушку не украли и чтобы она меньше шевелилась, ела бы без передышки и обкладывалась салом. Во всем этом Анна Климовна имела полный успех. Те из соседей, которым она показала свинушку, только ахали и поздравляли Анну Климовну».

Куры, свиньи и прочая живность в особенности вдохновляли писателей. Вот фрагмент из рассказа Пантелеймона Романова «В темноте»:

«Бывший швейцар, переселившийся из своего полуподвала в пятый этаж, садился вечером пить чай, когда на лестнице послышался отдаленный крик. Через минуту крик повторился, но уже глуше и где-то дальше.

– Кого это там черти душат? Выйди, узнай, – сказала жена, – еще с лестницы сорвется. Перила-то, почесть, все на топливо растаскали.

Швейцар нехотя вышел на лестницу.

– О господи, батюшка, – донеслось откуда-то сверху, – уперся головой во чтой-то, а дальше ходу нет.

– Да куда тебя нелегкая занесла! – послышался другой голос значительно ближе.

– Должно дюже высоко взял. Уперся головой в какой-то стеклянный потолок, а вниз ступить боюсь. Замерли ноги да шабаш. Уж на корячки сел, так пробую.

– Кто там? Чего вас там черти носят? – крикнул швейцар…

– К швейцару, к бывшему.

– Да это ты, что ли, Иван Митрич?

– Я, батюшка, я! К тебе со старухой шел, да вот нечистый попутал, забрел куда-то и сам не пойму. Чуть вниз не чубурахнул. А старуха где-то ниже отбилась.

– Я-то не отбилась. Это тебя нелегкая занесла на самую голубятню.

Швейцар сходил за спичками и осветил лестницу. Заблудшийся стоял на площадке лестницы, в нише, лицом к стене и шарил по ней руками.

– Фу-ты, черт! Вон куда, оказывается, попал. Все правой стороны держался. Лестница-то вся обледенела, как хороший каток… того и гляди.

– Воду носим, – сказал швейцар, – да признаться сказать, и плеснули еще вчерась маленько, а то, что ни день, то какая-нибудь комиссия является, – кого уплотнять, кого выселять. Тем и спасаемся. Нижних уплотнили, а до нас не дошли – так вся комиссия и съехала на собственном инструменте…

Швейцар молчал, а когда жена вышла на минуту в коридор, сказал:

– Наказание с этими бабами… Перебрались сюда, думал, что получше будет, чем в подвале, а она тут как основалась, так и пошла орудовать. Из кресел подушки зачем-то повытащила. Теперь у нее в них куры несутся. Тут у нее и поросенок, тут и стирка, тут и куры, а петуха старого вон между рамами в окно пристроила…

За дверью послышалась какая-то возня и голос хозяйки:

– Ну, иди, домовой, черти тебя носят!

Дверь открылась, и из темноты коридора влетел выпихнутый поросенок, поскользнулся на паркете и остолбенел; остановившись поперек комнаты, хрюкнул.

– Это еще зачем сюда?

– Затем, что у соседей был. Спасибо, хватилась, а то бы свистнули.

– Ты бы еще корову сюда привела, – сказал угрюмо швейцар…

На лестнице опять послышался какой-то крик и странные звуки, похожие на трепыханье птицы в захлопнувшейся клетке.

– Что это там, вот наказанье. Пойди посмотри.

Швейцар вышел, и хозяйка продолжала:

– Вон соседи у нас – какие умные люди, так за чистотой не гонятся. Нарочно даже у себя паркет выломали, чтоб никому не завидно было, два поросенка у них в комнате живут, да дров прямо бревнами со снегом навалили. А окно разбитое так наготове и держат – подушкой заткнуто, – как комиссия идет, они подушку вон и сидят в шубах. Так у них не то чтоб комнату отнимать, а еще их же жалеют: как это вы только живете тут? А они – что ж, говорят, изделаешь, время тяжелое, всем надо терпеть. Вот это головы, значит, работают…

Вдруг на лестнице послышался голос швейцара, который кричал на кого-то:

– Куда ж тебя черти занесли? Не смотрите, а потом орете. Вот просидела бы всю ночь тут, тогда бы знала.

Швейцар вернулся в свою комнату и с досадой хлопнул дверью…

– Старуха какая-то не разобралась в потемках, вместо двери в лифт попала да захлопнулась там».

* * *

А вот еще один художественный, но от того не менее реалистичный сюжет с вынужденным подселением. Викентий Вересаев, «В тупике»: «Катя встретилась на улице с адвокатом Миримановым. По-всегдашнему изящно одетый, в крахмальных манжетах и воротничке. Кате понравилось, что он не старается теперь, как все, одеваться попроще. Он спросил, где она живет.

– Ради бога, переезжайте ко мне! Вы мне сделаете огромнейшее одолжение. А то начнут уплотнять, нагонят «товарищей»… Я вам дам прекрасную комнату.

Огляделся и, понизив голос, сказал:

– Объясните мне, пожалуйста, – что же это кругом делается? Все портят, ломают, загаживают. Ни в чем никакого творчества, какое-то сладострастное разрушение всего, что попадается на глаза. И какое топтание личности, какое неуважение к человеку!.. С гуннами вздумали устраивать социалистический рай!

Еще больше понизил голос и сказал, смеясь умными своими глазами:

– Хорошее недавно словцо сказал Ленин в интимном кругу: «Мы давно уже умерли, только нас некому похоронить». Единственная умная голова среди них.

Катя перебралась к Миримановым».

Но не спрятаться было от представителей новой власти и теми порядками, которые они завели:

«Катя, как всегда, старалась дорыться до самого дна души, – что там у человека, под внешними словами? Было это под вечер. Они сидели в виноградной беседке, в конце миримановского сада. И Катя спрашивала:

– Ну, как же, – неужели у вас на душе совершенно спокойно? Вот, жили здесь люди, их выбросили на улицу, даже вещей своих не позволили взять, – и вселили вас. И вы живете в чужих квартирах, пользуетесь чужими вещами, гуляете вот по чужому саду, как по своему, и даже не спросите себя: куда же тем было деться?

Он, покашливая, отвечал равнодушно:

– Девайся, куда хочешь, – нам какое дело? Они о нас думали когда?.. В летошнем году жил я на Джигитской улице. Хорошая комната была, сухая, окна на солнце. Четыре семейства нас жило в квартире. Вдруг хозяин: «Очистить квартиру!» Спекулянту одному приглянулась квартирка. Куда деваться? Сами знаете, как сейчас с квартирами. Уж как молили хозяина. И прибавку давали. Да разве против спекулянта вытянешь? У него деньга горячая. Еле нашел себе в пригороде комнату, – сырая, в подвале, до того уж вредная! А у меня грудь уж тогда больная была. В один год здоровье свое сгубил на отделку.

Глаза его на худом лице загорелись.

– Пройдешься мимо, – отделал себе спекулянт квартиру нашу, живет в ней один с женой да с дочкой. Шторы, арматура блестит, пальмы у окон. И не признаешь квартирку. Вот какие права были! Богат человек, – и пожалуйте, живите трое в пяти комнатах. Значит, – спальня там, детская, столовая, – на все своя комната. А рабочий человек и в подвале проживет, в одной закутке с женой да с пятью ребятишками, – ему что? Ну, а теперь власть наша, и права другие пошли. На то не смотрят, что богатый человек.

– Так неужели можно брать пример со спекулянтов? Они жестоки, бесчувственны, – и вы тоже хотите быть такими же?

– Вселил бы я его в свой подвал, поглядел бы, как бы он там жил с дочкою своею, в кудряшках да с голенькими коленками! Идешь с завода в подвал свой проклятый, поглядишь на такие вот окна зеркальные. Ишь, роскошничают! «Погоди, – думаешь, – сломаем вам рога!» Вот и дождались, – сломали! А что вещи, говорите, чужие, да квартира чужая, – так мы этого не считаем».

Бедная Катя. Для нее все закончилось плохо:

«Из верхнего этажа дома Мириманова, – там было две барских квартиры, – вдруг выселили жильцов: доктора по венерическим болезням Вайнштейна и бывшего городского голову Гавриленко. Велели в полчаса очистить квартиры и ничего не позволили взять с собою, ни мебели, ни посуды, – только по три смены белья и из верхней одежды, что на себе.

– Куда ж нам выселяться?

– Нам какое дело? Куда хотите.

Бледный Вайнштейн, вдруг вдвое потолстевший, – он надел на себя белья и одежды, сколько налезло, – ушел с многочисленною семьею к родственникам своим в пригород. Старик Гавриленко растерянно сидел с женою у Мириманова…

Жена Гавриленки рыдала.

– Где жить и чем жить? Все там осталось, продавать даже будет нечего. Была бы помоложе, хоть бы в хор пошла к Белозерову. А теперь и голоса никакого не осталось.

Она кончила консерваторию и до замужества с большим когда-то успехом выступала в московской опере.

К вечеру в квартиры наверху вселилось шесть рабочих семей. И по всему городу стояли стоны и слезы. Очищено было около ста буржуазных квартир.

Длинные очереди Гавриленко простаивал в жилищном отделе, наконец добирался. Ему грубо отвечали:

– Записали вас, – чего же еще! Дойдет до вас очередь, получите комнату.

Гавриленко, корректный и вежливый, возражал:

– Но ведь меня из моей квартиры выселили, я остался на улице. В буквальном смысле. Куда же мне деться?

– У нас коммунисты, ответственные работники, ночуют в коридорах гостиниц и ждут угла по неделям.

Выселили и фельдшерицу Сорокину, жившую у Гавриленки. Катя предложила ей поселиться с нею в комнате. Но в домовом комитете потребовали ордера из жилотдела. А в жилищ-

ном отделе Сорокиной сказали, что Катя сама должна прийти в отдел и лично заявить о своем согласии.

– Господи, какая формалистика! Целый день терять! Ну, дешево у них время!

Однако пошла. Простояли с Сорокиной длиннейшую очередь, добрались. Черноволосая барышня с матовым лицом и противно-красными, карминовыми губами нетерпеливо слушала, глядя в сторону.

– Ничего нельзя сделать. К вам вселят по ордеру жилищного отдела.

Катя остолбенела.

– Позвольте! В праве же я выбрать сожительницу себе по вкусу! И ведь тут же вчера нам сказали, что я должна только заявить о своем согласии.

– Не знаю, кто вам сказал.

Сорокина поспешно объяснила:

– Сказал товарищ Зайдберг, заведующий жилотделом.

– Ну, и идите к нему.

– Куда?

Барышня перелистывала бумаги.

– Товарищ, куда к нему пройти?

– Что?

– Куда пройти к товарищу Зайдбергу?

– Ах, господи! Комната №8…

Щеголевато одетый молодой человек, горбоносый и бритый, с большим, самодовольно извивающимся ртом, весело болтал с двумя хорошенькими барышнями… Они болтали и как будто не замечали вошедших. Катя и Сорокина ждали. Катя, наконец, сказала раздраженно:

– Послушайте, будьте добры нас отпустить. Мне на службу надо.

Лицо молодого человека стало строгим, нижняя губа пренебрежительно отвисла.

– В чем дело?

Катя объяснила.

– Ничего не могу сделать. Вы подлежите ответственности, что сами занимаете комнату, в которой могут жить двое, и не заявили об этом в отдел. Поселят к вам того, кому я дам ордер.

Сорокина упавшим голосом сказала:

– Но, товарищ Зайдберг, ведь вы же вчера сами сказали, что требуется только личное согласие того, к кому вселяются.

– Ничего подобного я не говорил. Не могу вас вселить. Я обязан действовать по закону.

– В чем же закон?

– В чем я скажу… Я извиняюсь, мне некогда. Ничего для вас не могу сделать.

Катя в бешенстве смотрела на него. Бестолочь и унижения сегодняшнего дня огненным спиртом ударили ей в голову. Она пошла к двери и громко сказала:

– Когда же кончится это хамское царство!

Молодой человек вскочил.

– Что вы сказали?!. Товарищи, вы слышали, что она сказала?

Катя, пьяная от бешенства, остановилась.

– Не слышали? Так я повторю. Когда же кончится у нас это царство хамов!

– Надежда Васильевна! Кликните из коридора милиционера… Прошу вас, гражданка, не уходить. Я обязан вас задержать.

Вошел милиционер с винтовкой. Молодой человек говорил по телефону:

– Особый отдел?.. Пожалуйста, начальника. Просит заведующий жилотделом… Товарищ Королицкий? Я сейчас отправлю к вам белогвардейку, занимается контрреволюционной пропагандой… Что? Хорошо. И свидетелей? Хорошо.

Он стал писать.

– Вы не отпираетесь, что сказали: «когда же кончится это хамское царство?»

– Не отпираюсь и еще раз повторяю.

– Товарищ милиционер, подпишитесь и вы свидетелем, вы слышали. С этою бумагою отведете ее в Особотдел.

Милиционер с винтовкою повел Катю по улицам!»

* * *

Все-таки описанный Булгаковым сюжет с племянницами был, пожалуй, самым гуманным вариантом уплотнения. И, кстати, достаточно распространенным. Ведь люди, приезжавшие в Москву, довольно часто приходились родственниками кому-нибудь из жителей столицы, пусть даже приехавших всего лишь на несколько месяцев раньше.

Сергей Голицын писал:

«Меня переселили в детскую, где и без того стояли ряды кроватей и кроваток моих младших сестер Маши и Кати и детей дяди Владимира и тети Эли Трубецких – Гриши и Вари с их няней Кристиной. На моем месте поселился мой двоюродный брат Бумбук, иначе Владимир, старший из Львовых, корнет кавалергардского полка. Он куда-то уходил на весь день, а на столе лежала его книга – роскошное издание – история самого блестящего гвардейского полка. Я с интересом перелистывал страницы, наполненные портретами бравых офицеров и цветными картинками, на которых всадники в белых с золотом мундирах, в золотых касках, подняв шашки, скакали на вороных конях. А по утрам я любовался красивым и стройным, породистым юношей: он ухаживал за своими ногтями, мазал волосы чем-то красным и душился. Он уехал, а позднее погиб в рядах Белой армии. В изданной за границей книге «Кавалергарды» я прочел, как его эскадрон где-то на юге выбил красных из одной деревни, он застрелил комиссара и отошел, пеший. А тот оставался живым, приподнялся и, выстрелив Владимиру в спину, убил его наповал и сам тут же был изрублен шашками.

Я вернулся жить в свою с Владимиром спальню, но не надолго. Мое место занял самый младший брат моей матери – дядя Миша – Михаил Сергеевич Лопухин, а я вновь переселился в детскую».

Да, всем членам семейства приходилось все время куда-нибудь переезжать, с кем-то меняться кроватями, как-то перетасовываться. Но родная кровь – она и есть родная кровь. И многие усматривали в этих переменах даже что-то положительное. Жить, по крайней мере, явно становилось веселее.

* * *

Тот, кто не подсуетился вовремя, разумеется, оказывались при соседях. При этом в расчет не бралось ничего – ни богатство, ни слава. Совершенно неожиданно – можно сказать, не выходя из собственного дома – в коммунальной квартире вдруг оказалась первейшая знаменитость России, Федор Иванович Шаляпин. Власти исправно поставляли ему квартирантов.

Степан Скиталец вспоминал о визите к Шаляпину: «Как-то ранней весной во время его гастролей зашел к нему в Москве в его прежний особняк. Был дождливый день. Национализированный дом был полон «жильцами», занявшими все комнаты по ордеру. Самого его я нашел наверху, на площадке лестницы мезонина. Площадка старого московского дома была застеклена и представляла что-то вроде сеней или антресолей. Вместо потолка – чердак. Топилась «буржуйка», а на кровати лежал Шаляпин в ночной рубашке.

По железной крыше стучал дождь.

Завидя меня, взбиравшегося к нему по крутой и узкой деревянной лестнице черного хода, он весело засмеялся и, протягивая мне руку, великолепно продекламировал стихи Беранже:

Его не огорчит, что дождь сквозь
крышу льется!
Да как еще смеется!
Да ну их! – говорит».

Константин Коровин писал:

«Федор Иванович все время пребывал в полном недоумении. Часто ездил в Кремль, к Каменеву, Луначарскому, Демьяну Бедному. И приходя ко мне, всегда начинал речь словами:

– В чем же дело? Я же им говорю: я имею право любить мой дом. В нем же моя семья. А мне говорят: теперь нет собственности – дом ваш принадлежит государству. Да и вы сами тоже. В чем же дело? Значит, я сам себе не принадлежу. Представь, я теперь, когда ем, думаю, что кормлю какого-то постороннего человека. Это что же такое? Что же, они с ума сошли, что ли? Горького спрашиваю, а тот мне говорит: погоди, погоди, народ тебе все вернет. Какой народ? Крестьяне, полотеры, дворники, извозчики? Какой народ? Кто? Непонятно. Но ведь и я народ.

– Едва ли, – сказал я, – ты помнишь, Горький как-то говорил у меня вечером: кто носит крахмальные воротники и галстухи – не люди. И ты соглашался.

– Ну, это так, не серьезно…

Он помолчал и заговорил вновь:

– Пришли ко мне какие-то неизвестные люди и заняли половину дома. Пол сломали, чтобы топить печку. В чем же дело?.. Если мне не нужны эти портки, – показал он на свои панталоны, – то что же будут делать портные? Если я буду жить в пещере и буду прикрывать себя травой, то что будут делать рабочие? Трезвинский говорит в Всерабисе: «Дайте-ка мне две тысячи рублей в вечер, как получает Шаляпин, я буду петь лучше его»… Вино у меня из подвала украли, выпили и в трактир соседний продали…

– Посмотри, пожалуйста, – Шаляпин показал в окно, – пустые бочки везут в одну сторону, а другие ломовые везут такие же бочки в другую сторону. Смотри: глобус, парты школьные – это школа переезжает. Вообще, все переезжают с одного места на другое. Точно кто-то издевается. Луначарский говорит, что весь город будет покрыт садами. Лекции по воспитанию детей и их гигиене будут читать… А в городе бутылки молока достать нельзя».

В 1922 году Федор Иванович уехал за границу, навсегда.

* * *

И, разумеется, новые власти относились к «бывшим» безо всякого сочувствия. Чем выше возносился человек, чем страшнее было ему падать, тем больше было радости на этот счет. Новая пропаганда в лице Ильфа и Петрова писала в рассказе «Граф Средиземный»:

«Старый граф умирал.

Он лежал на узкой грязной кушетке и, вытянув птичью голову, с отвращением смотрел в окно. За окном дрожала маленькая зеленая веточка, похожая на брошь. Во дворе галдели дети. А на заборе противоположного дома бывший граф Средиземский различал намалеванный по трафарету утильсырьевой лозунг: «Отправляясь в гости, собирайте кости». Лозунг этот давно уже был противен Средиземскому, а сейчас даже таил в себе какой-то обидный намек. Бывший граф отвернулся от окна и сердито уставился в потрескавшийся потолок.

До чего ж комната Средиземского не была графской! Не висели здесь портреты екатерининских силачей в муаровых камзолах. Не было и обычных круглых татарских щитов. И мебель была тонконогая, не родовитая. И паркет не был натерт, и ничто в нем не отражалось.

Перед смертью графу следовало бы подумать о своих предках, среди которых были знаменитые воины, государственные умы и даже посланник при дворе испанском. Следовало также подумать и о боге, потому что граф был человеком верующим и исправно посещал церковь. Но вместо всего этого мысли графа были обращены к вздорным житейским мелочам.

– Я умираю в антисанитарных условиях, – бормотал он сварливо. – До сих пор не могли потолка побелить.

И, как нарочно, снова вспомнилось обиднейшее происшествие. Когда граф еще не был бывшим и когда все бывшее было настоящим, в 1910 году, он купил себе за шестьсот франков место на кладбище в Ницце. Именно там, под электрической зеленью хотел найти вечный покой граф Средиземский. Еще недавно он послал в Ниццу колкое письмо, в котором отказывался от места на кладбище и требовал деньги обратно. Но кладбищенское управление в вежливой форме отказало…

Доходы графа от продажи папирос с лотка были очень невелики, и он сильно надеялся на деньги из Ниццы. Переписка с кладбищенскими властями причинила графу много волнений и разрушительно подействовала на его организм. После гадкого письма, в котором так спокойно трактовались вопросы перевозки графского праха, он совсем ослабел и почти не вставал со своей кушетки. Справедливо не доверяя утешениям районного врача, он готовился к расчету с жизнью. Однако умирать ему не хотелось, как не хотелось мальчику отрываться от игры в мяч для того, чтобы идти делать уроки. У графа на мази было большое склочное дело против трех вузовцев – Шкарлато, Пружанского и Талмудовского, квартировавших этажом выше».

Граф был кругом виноват. В том, что он родился графом, в том, что когда-то бывал за границей – в Ницце, в частности. В том, что умирал в грязной кровати. Разнорабочие железнодорожных депо, видимо, отходили в мир иной на белоснежных и крахмальных простынях.

А причиной ненависти графа к перечисленным молодым людям было то, что они – безусловно, положительные персонажи – «пропесочили» и «разъяснили» графа в домовой стенгазете. Нацарапали карикатурку и составили стишок:

В нашем доме номер семь
Комната найдется всем.
Здесь найдешь в один момент
Классово чуждый элемент.
Что вы скажете, узнав,
Что Средиземский – бывший граф?!

Средиземский испугался. Он засел за опровержение, решив в свою очередь написать его стихами. Но он не мог достигнуть той высоты стихотворной техники, которую обнаружили его враги. К тому же к Шкарлато, Пружанскому и Талмудовскому пришли гости. Там щипали гитару, затягивали песни и боролись с тяжким топотом. Иногда сверху долетали возгласы: «… Энгельс его ругает, но вот Плеханов…» Средиземскому удалась только первая строка: «То, что граф, я не скрывал…» Опровергать в прозе было нечего. Выпад остался без ответа. Дело как-то замялось само по себе. Но обиды Средиземский забыть не мог. Засыпая, он видел, как на темной стене на манер валтасаровских «мене, текел, фарес» зажигаются три фосфорических слова: Шкарлато, Пружанский, Талмудовский».

* * *

Юрий Трифонов писал в романе «Время и место»: «Мирон жил на Солянке, в старом доме, на втором этаже. В том доме, что стоит на взгорке, на завороте Солянки к площади Ногина. Квартира была громадная, с запутанными коридорами, с бесчисленными жильцами, в двух комнатах ютилась семья Мирона – отец с матерью и младшим братом в одной, Мирон занимал другую. Отец Мирона был адвокат, но какой-то мелкотравчатый, неуспешный, работал в области, мотался по электричкам и вид имел совсем не адвокатский – походил на заморенного жизнью провинциального счетовода, кладовщика, ветеринара, живущего на скудную копейку. И мать была вровень ему: такая же малорослинькая, согбенная, суетливая, с жилистыми руками судомойки и прачки. Они были добрые люди. И когда Антипов приходил к ним, он ощущал эту особую доброту бедных людей, которая во сто крат слаще доброты богатых. Его усаживали за стол, покрытый клеенкой, истертой и перемытой до такой степени, что рисунок исчез, осталась лысая белизна, наливали чаю, давали хлеб, кусочек сыру, ставили на середину стола блюдце с леденцами и расспрашивали Антипова о матери, о сестре очень дотошно и дельно, давали советы, радовались хорошим новостям, огорчались из-за дурных».

* * *

Одним из самых знаменитых жителей московских коммуналок был писатель Михаил Булгаков. Отчасти благодаря тому, что он «вселил» в свое жилье на улице Большой Садовой героев легендарного романа «Мастер и Маргарита». Там же состоялся знаменитый «бал у Сатаны»:

«В следующем зале не было колонн, вместо них стояли стены красных, розовых, молочно-белых роз с одной стороны, а с другой – стена японских махровых камелий. Между этими стенами уже били, шипя, фонтаны, и шампанское вскипало пузырями в трех бассейнах, из которых был первый – прозрачно-фиолетовый, второй – рубиновый, третий – хрустальный. Возле них метались негры в алых повязках, серебряными черпаками наполняя из бассейнов плоские чаши. В розовой стене оказался пролом, и в нем на эстраде кипятился человек в красном с ласточкиным хвостом фраке. Перед ним гремел нестерпимо громко джаз…

Прихрамывая, Воланд остановился возле своего возвышения, и сейчас же Азазелло оказался перед ним с блюдом в руках, и на этом блюде Маргарита увидела отрезанную голову человека с выбитыми передними зубами».

События разыгрывались здесь нешуточные: «Барон стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из груди и залила крахмальную рубашку и жилет. Коровьев подставил чашу под бьющуюся струю и передал наполнившуюся чашу Воланду. Безжизненное тело барона в это время уже было на полу.

– Я пью ваше здоровье, господа – негромко сказал Воланд и, подняв чашу, прикоснулся к ней губами…

Он быстро приблизился к Маргарите, поднес ей чашу и повелительно сказал:

– Пей!»

Но истиная жизнь советских коммуналок все равно была гораздо интереснее, чем вымышленные события.

* * *

Михаил Афанасьевич первое время жил в подъезде слева. История вселения в тот дом описана Булгаковым в рассказе «Воспоминание…». Формально он посвящен Ленину, однако же в действительности в нем описывается бедственное положение Михаила Афанасьевича, только что приехавшего в столицу и роль Крупской в его избавлении от бед:

«Я отправился в жилотдел и простоял в очереди 6 часов. В начале седьмого часа я в хвосте людей, подобных мне, вошел в кабинет, где мне сказали, что я могу получить комнату через два месяца.

В двух месяцах приблизительно 60 ночей, и меня очень интересовал вопрос, где я их проведу. Пять из этих ночей, впрочем, можно было отбросить: у меня было пять знакомых семейств в Москве. Два раза я спал на кушетке в передней, два раза – на стульях и один раз – на газовой плите. А на шестую ночь я пошел ночевать на Пречистенский бульвар. Он очень красив, этот бульвар, в ноябре месяце, но ночевать на нем нельзя больше одной ночи в это время. Каждый, кто желает, может в этом убедиться. Ранним утром, лишь только небо над громадными куполами побледнело, я взял чемоданчик, покрывшийся серебряным инеем, и отправился на Брянский вокзал. Единственно, чего я хотел после ночевки на бульваре, – это покинуть Москву. Без всякого сожаления я оставлял рыжую крупу в мешке и ноябрьское жалованье, которое мне должны были выдавать в феврале. Купола, крыши, окна и московские люди были мне ненавистны, и я шел на Брянский вокзал@.

Но приятель, встреченный счастливым образом у Брянского (ныне Киевского) вокзала, приютил писателя. Осталось только прописаться.

Правда, прописывать Булгакова никто не собирался. Тогда последний записался на прием к Надежде Крупской:

«В три часа дня я вошел в кабинет. На письменном столе стоял телефонный аппарат. Надежда Константиновна в вытертой какой-то меховой кацавейке вышла из-за стола и посмотрела на мой полушубок.

– Вы что хотите? – спросила она, разглядев в моих руках знаменитый лист.

– Я ничего не хочу на свете, кроме одного – совместного жительства. Меня хотят выгнать. У меня нет никаких надежд ни на кого, кроме Председателя Совета Народных Комиссаров. Убедительно вас прошу передать ему это заявление.

И я вручил ей мой лист.

Она прочитала его.

– Нет, – сказала она, – такую штуку подавать Председателю Совета Народных Комиссаров?

– Что же мне делать? – спросил я и уронил шапку.

Надежда Константиновна взяла мой лист и написала сбоку красными чернилами:

Прошу дать ордер на совместное жительство.

И подписала:

Ульянова.

Точка.

Самое главное то, что я забыл ее поблагодарить.

Забыл.

Криво надел шапку и вышел.

Забыл».

В результате Михаил Афанасьевич сделался полноценным жителем квартиры №50 дома по улице Большой Садовой, 10. Куда впоследствии привел и свою первую супругу, Татьяну Николаевну.

Булгаков сообщал в письме сестре: «Самый ужасный вопрос в Москве – квартирный. Живу в комнате, оставленной мне по отъезде Андреем Земским. Больш. Садовая, 10, кв. 50. Комната скверная, соседство тоже, оседлым себя не чувствую, устроиться в нее стоило больших хлопот».

Затем он переехал – в подъезд справа, в квартиру напротив. Его новая комната была с видом на старую. Татьяна Николаевна Булгакова писала: «В этой квартире жил миллионер, Артур Манасевич. Он давал деньги домоуправлению на содержание дома – какие-то у них

были свои дела… Его окна были как раз напротив наших – и он видел всю нашу жизнь… Когда умер его брат, им надо было кого-то вселять, и он сказал: „Самые тихие люди – Булгаковы“. Комната была, конечно, хуже нашей первой – та была солнечная, а здесь венецианское стекло смотрело прямо в стену мастерской. Ну, он оклеил комнату обоями, говорил, что – телефон и все такое… Мы решили переехать».

Главное – здесь не было той полукриминальной атмосферы, которая была присуща первому жилью. Булгаков описал его в стихах:

На Большой Садовой
Стоит дом здоровый.
Живет в этом доме наш брат
Организованный пролетариат.
И я затерялся между пролетариатом
Как какой-нибудь, извините

за выражение, атом.

Жаль, некоторых удобств нет,
Например – испорчен ватер-клозет.
С умывальником тоже беда:
Днем он сухой, а ночью из него течет вода.
Питаемся понемножку:
Сахарин и картошка.
Свет электрический – странной марки:
То потухнет, а то опять ни с того, ни

с сего разгорится ярко.

Теперь, впрочем, уже несколько дней
горит подряд,

И пролетариат очень рад.
За левой стеной женский голос выводит
«бедная чайка…»,
А за правой играют на балалайке[2].

* * *

В 1930-е годыв одном из полуподвалов в Долгом переулке, рядом с улицей Плющихой, вернувшись из скитаний по Европе, проживал писатель Андрей Белый. Некогда эта квартира была полностью в распоряжении его супруги, Клавдии Николаевны Васильевой, но эпоха нарушила и это прайваси.

[2] 1921 год.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.